

## **ПОЕТИКА. ІСТОРИЧНА ПОЕТИКА**

<https://doi.org/10.31861/pytlit2020.102.007>

УДК 82.0(4)

### **ВООБРАЖАЕМАЯ ГЕОГРАФИЯ В ФИЛОЛОГИИ ЭРИХА АУЭРБАХА**

**Ангел Валентинов Ангелов**

[valentangel@hotmail.com](mailto:valentangel@hotmail.com)

*Доктор искусствоведения, кандидат филологических наук,  
профессор по теории и истории литературы*

*Институт литературы, Болгарская академия наук  
Бул. Шипченски проход, 52, бл. 17, 1113, г. София, Болгария*

**Аннотация.** Цель работы – исследовать значение внедисциплинарного определения „европейская филология” в понимании Эриха Ауэрбаха. Автор приходит к выводу, что осознание Европы как исторической целостности формируется у Ауэрбаха в 1920-е, но эмиграция превращает эту весьма общую идею в четкую позицию. Существенный вопрос: какова символическая география „европейской филологии” Ауэрбаха. Синонимия Европы и Абендлянда свидетельствует о том, что для Ауэрбаха Европа – это Западная Европа, единство романских и германских языков и литератур. Социальной значимостью гуманитарных научных дисциплин является формирование ценностей, которые способны превращаться в пред/убеждения и руководить поведением. Разделение Европы на две части в конце Второй мировой войны – результат прежде всего военных и политических мотивов, но, вместе с тем, и сформировавшихся убеждений и ценностей. Филология также может разделять Европу соответствующим образом.

**Ключевые слова:** Абендланд; европейская литература; романская филология; интерпретация; судьба; Эрих Ауэрбах; Гуго фон Гофмансталь.

Под воображаемой географией (или символическим пространством) понимаю соотношение реальной территории, с одной стороны, и литературных и религиозных текстов, изобразительных и музыкальных произведений – с другой. В ходе соотношения вырабатываются определенные ценности, которые становятся отличительными признаками этого символического пространства. В филологии Ауэрбаха это символическое пространство называется „Европа”. Ценности могут соединяться с идеологемами по примеру обсуждаемых в статье речей Гофманстала.

### *I. Романская филология и Европа*

В введении к книге „Литературный язык и публика в латинской поздней античности и в средневековье” Ауэрбах утверждает, что основные положения немецкого романтического историзма конца XVIII и начала XIX века нигде не разработаны более последовательно, чем в немецкой романской филологии. Через идею исторически индивидуализированных народностей создано диалектическое представление о многообразии и общности человеческого (Auerbach 1958: с. 9).

Действительно, для немецких ученых предметом их исследований является обширное пространство романских литератур и языков, их разнообразная связанность с латинским наследием и через него – с греческой Античностью, что и является дисциплинарным горизонтом романской филологии. Через сопоставление с Античностью<sup>1</sup> романская филология как будто „напоминает себе” о своем происхождении из классической<sup>2</sup>. Это придает предметной области, и не только в романской филологии, достоверность и истинность. Такая убежденность продолжает существовать и в первой половине XX-го века. Наследие

---

<sup>1</sup> Употребляю понятия *романское, латинское, германское* с пониманием их условности, поскольку они продолжают не только употребляться, но и давно закреплены институционально.

<sup>2</sup> Книга „Власть филологии” романиста Ханса Ульриха Гумбрехта – (не)дисциплинарное размышление над основными филологическими процедурами. Как будто подтверждая происхождение не только романской, но и вообще новых филологий, из классической, книга – итоговый результат участия автора в пяти коллоквиумах в Германии, посвященных классической филологии (Gumbrecht 2002: с. 14).

Античности присваивали для той или иной национальной и литературной каузы, однако в работах тех, кого Ауэрбах называет „европейскими филологами”, ценность заключалась не столько в акценте на национальную исключительность, сколько в создании западноевропейского единства на общей исторической основе, путем ее усвоения и преобразования. Так как эти позиции внепоставлены, немецкие филологи могли бы придерживаться национальных позиций, не отождествляя себя с националистическими в отношении любой из романских литератур<sup>3</sup>. Само название „Романия”, предполагающее страны, в которых говорят на романских языках, в его современном значении принадлежит французскому филологу Гастону Пари (Romania 1977: с. 519–520)<sup>4</sup>. Как немецкие романисты будут оценивать отношение между Германией и романскими странами, и, главным образом, между Германией и Францией, зависит не столько от собственно филологических, сколько от социальных ценностей, более того, и от политической обстановки в двух странах. Логика политического и гуманитарного находится во взаимодействии, что неоднократно подтверждалось действительностью.

Существовали ученые, каких нельзя было бы найти ни в одной другой филологической специальности и ни в одной другой стране (кроме Бенедетто Кроче, но и он тесно связан с немецкой Geisteswissenschaft); они были или есть, благодаря широте их горизонта, европейскими филологами. Думаю прежде всего о Карле Фосслере, Эрнсте Роберте Курциусе и Лео Шпитцере.

---

<sup>3</sup> В споре с Америко Кастро Лео Шпитцер защищается: „Он (Америко Кастро. – А. А.) хочет предписать иностранцам, как они должны чувствовать испанскую литературу: иностранец не может почувствовать ни правовую проблематику у Кальдерона, ни «лицемерие Сервантеса» (которому я никогда не поверю), поскольку он не испанец. Так Кастро сам отнимает у своей литературы «характер мировой литературы», которым она обладает, отказываясь допустить, чтобы хор чужих голосов, в их собственном своеобразии, смешался с испанскими голосами. Это очень провинциально, мелко по-испански и закоснело...” (Hausmann 2000: с. 307). Хаусман цитирует письмо Шпитцера 2 апреля 1935 г., отправленное из Стамбула Карлу Фосслеру. В этом письме Шпитцер защищается от критики, с которой Кастро выступил по поводу его статьи о Кальдероне. Привязанность и предпочтение Лео Шпитцера романскому (французскому, испанскому, итальянскому) не исходит из какого бы то ни было национализма.

<sup>4</sup> Об исторической переменчивости названия „Романия” см. (Romania 1977: с. 519).

Фрагменты в этой книге („Литературный язык и публика в латинской поздней античности и в средновековье”. – А. А.), подчеркивает Ауэрбах, как и его труды в целом, являлись результатом тех же предпосылок, но более четко демонстрировали сознание о потрясении Европы:

так как для меня европейские возможности романской филологии предстали изначально и неукоснительно не только как возможность, но как задача, чье исполнение именно теперь, а в настоящий момент тем более, все еще может быть осуществлено (Auerbach 1958: с. 9–10)<sup>5</sup>.

Введение „О замысле и методе”, откуда взяты цитаты, закончено вероятно в 1956/57 г., после того, как другие главы книги уже были написаны. Это последний текст Ауэрбаха. Здесь впервые открыто подвергается оценке европейская значимость романской филологии и употребляется синтагма „европейские филологи”. Проблема того, возможно ли определить занятия Фосслера, Курциуса, Шпитцера и самого Ауэрбаха как филологию, была дискутирована не раз. Если филология – это издание, комментарий к текстам и приведение в порядок фрагментов исчезнувших произведений, то ни одного из четырех ученых нельзя назвать филологом. Если, однако, принять, что филологическое толкование – это терпеливое выяснение определенной текстовой целостности, ее языковых особенностей, чья цель – восстановить смысл этой целостности и ее связи с исторической средой, то тогда научная деятельность Ауэрбаха, как и деятельность троих его коллег, филологическая. И, в особенности, если текстовая целостность или фрагмент отдалены во времени от современности<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> „Es fanden sich Gelehrte wie man sie wohl in keinem anderen philologischen Fache und in keinem anderen Lande finden dürfte (es sei denn Benedetto Croce, und der ist eng mit der deutschen Geisteswissenschaft verbunden); sie waren oder sind durch die weite ihres Gesichtskreises europäische Philologen. Ich denke vor allem an Karl Vossler, Ernst Robert Curtius und Leo Spitzer. ... denn mir erschienen schon sehr früh, und immer dringender, die europäischen Möglichkeiten der romanischen Philologie nicht mehr nur als Möglichkeiten, sondern als Aufgabe, deren Erfüllung erst jetzt und gerade noch jetzt versucht werden könne” (Auerbach 1958: с. 9–10).

<sup>6</sup> Статья Найчальса – это и краткая история спора о том, филологическими ли являются занятия Ауэрбаха (Nichols 1996: с. 63–78). Сравнительно легко ориентироваться в вопросе

Основной вопрос состоит не в том, были ли филологами упомянутые романисты сообразно с тем или иным пониманием научных дисциплин, а работали ли изначально Ауэрбах и другие выдающиеся романисты с сознанием о Европе; допускали ли они общий европейский горизонт для своих литературных и языковых исследований? Или это европейское сознание оформлялось постепенно и позже в результате личных и социальных сотрясений, каковыми были эмиграция Ауэрбаха и Шпитцера, внутренняя изолированность Курциуса и Фосслера в Германии 1933–1945 гг.<sup>7</sup> В осознании себя „европейскими филологами” несомненно сыграла роль научная традиция, в которой они формировались: именно дисциплинарная рамка, предполагавшая знание нескольких романских языков в их историческом развитии, знание основных литературных произведений до конца XIX в., а также представление об исторических событиях. Иными словами, немецкий романист пребывал в поле значительно более широком, чем поле национальных филологий. Разумеется, всегда остается специализирование, романские языки не исчерпываются французским, итальянским и испанским, сама идея о языковом единстве является не природной данностью, а научной концепцией. Но именно эта концепция содействует познавательному горизонту, более широкому, чем национальный, и предполагает сопоставления как внутри самой романистики, так и в сравнении с историческим и литературным развитием Германии.

Языки и литературы двух других языковых семейств в Европе исследуются соответственно славянской и германской филологиями. Европейская доля трех филологий зависит от текстов и от языковых памятников, которые они исследуют, а также от политического веса изучаемой страны и ее языка. Написанное на основных романских языках оказывает на другие европейские компоненты более продолжительное и более сильное воздействие, благодаря чему оно

---

о том, что такое филология, это одноименные статьи в словарях литературных понятий или в литературных энциклопедиях. Могу порекомендовать соответствующие статьи изданий „Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte” и „Краткая литературная энциклопедия” (т. 7).

<sup>7</sup> Лео Шпитцер (1887–1960), Эрнст Роберт Курциус (1886–1956) и Карл Фосслер (1872–1949) – немецкие филологи-романисты. Эти имена не исчерпывают список авторитетных немецкоязычных историков романских литератур первой половины XX-го в.

содержит и более явственную претензию на представительность в отношении „европейского”. В своем историческом развитии романские литературы создают образцы, которым подражают, которые оспаривают и отвергают, с которыми другие соревнуются в большей степени, чем суммарно это делают литературы славянских или германских языков до начала XX века.

Основная характеристика литературных произведений в Европе, которые будут названы классическими – это способность их авторов усваивать и преобразовывать разнородные воздействия, что можно проследить и в работах Ауэрбаха о творчестве Данте. Отсюда характеристика (не единственная) классического в Европе состоит в том, чтобы классическое постоянно расширяло свою культурную географию, чтобы постоянно воспринимало внешние воздействия и, помимо того, чтобы усваивало чужие, неевропейские до этого момента культурные территории. В ответ на критику о пренебрежении опыта немецкой литературы в „Мимесисе”, Ауэрбах отвечает:

Преобладание романского в „Мимесисе” объясняется не только фактом, что я – романист, но, прежде всего, тем, что в большинстве эпох романские литературы в большей степени дают представление о Европе, чем немецкая (Auerbach 1953: с. 13–14)<sup>8</sup>.

История романских языков отражает непрерывность всех периодов европейской культуры, если иметь в виду Позднюю античность и Раннее средневековье; именно так считает Ауэрбах. Запад оказывается в военном отношении сильнее, и крестоносцы грабят город Константина в 1205, а позже он и вовсе перестает существовать как Константинополь, в то время как Рим восстанавливается после опустошения, и институция папства – единственная, которая демонстрирует превратную прочность более чем двухтысячелетней европейской истории; воплощает ее не только символически, но и реально. Даже если сосредоточить внимание на разнородности и перерывах европейской истории, а не

---

<sup>8</sup> „Das Vorwiegen des Romanischen in «Mimesis» erklärt sich nicht nur aus der Tatsache, dass ich Romanist bin, sondern vor allem daraus, dass in den meisten Perioden die romanischen Literaturen für Europa repräsentativer sind als etwa die deutsche” (Auerbach 1953: с. 13–14).

на прочности и развитии, можно заметить, что перерывы обладают порождающей силой, а разнородности подвержены усвоению. Возможно, отдельные характеристики романского определялись как „лучшая Европа”, но все же есть существенная разница в том, чтобы европейское было присвоено либо одной, либо несколькими близкими культурами, чтобы европейское являлось несводимым к своим составляющим историческим гештальтом<sup>9</sup>. Словом, восхождение к идее единства Европы у Ауэрбаха связано со средоточением именно на Поздней античности и на латинском Средневековье, как и на французской литературе. Своеобразие этого специализирования состоит в том, повторяю, что оно сформировалось в немецкой филологической традиции и что оно внепоставлено; эти две характеристики одинаково важны.

Но все же предмет исследовательской специализации – только предпосылка, он не является движущей силой, которая может формировать сознание того, что ты – „европейский” филолог. Движущая сила, считаю, была порождена самой ситуацией, которую обобщенно можно определить как опасность утраты и угрозы для всей европейской культуры. Что такое европейская культура, зависит от того, как мы ее определим. Едина ли она, каковы ее характеристики, сколько в ней традиций – это вопросы, на которые в зависимости от исследовательской позиции можно дать различные ответы. Европейская война 1914–1918 гг. воспринимается как распад культуры и единства Европы, и о реальности этого социального и индивидуального переживания существует множество свидетельств. Само название, пренебрегая фактом, что война – мировая, указывает на внутриевропейскую точку зрения; это война, которая поразила всю Европу, а не только несколько наций. Последствия войны не исчерпываются только переменами в социальной психологии. Как переживание и мотив она воздействовала и на традиционно замкнутую деятельность, каковой оставалась филология даже до начала 1960-х.

Изначально я склонялся к тому, что именно эмиграция 1930-х была основной причиной того, что Шпитцер и Ауэрбах

---

<sup>9</sup> В других областях знания европейское базировалось бы не на родственных в языковом отношении литературах, а на разделенных религиозных, политических, экономических и культурных характеристиках.

сформировали свои убеждения о Европе. Их тексты 1920-х убеждают, однако, что, помимо Первой мировой войны, ими ощущалась также и угроза повторного военного конфликта в 1920-е гг., главным образом между Францией и Германией. Это сказывалось на том, что часть немецких романистов переосмыслила свои академические занятия. „Единство” европейской культуры было всегда больше желаемым, чем реальным, поскольку имели место конфликты интересов, сфер влияния, включая экономику знаний и артефакты (эти реалии не являются здесь предметом обсуждения). В данном случае мне интересен побуждающий мотив, подтолкнувший Ауэрбаха к недисциплинарному определению „европейские филологи” и его содержанию. В качестве резюме: сознание о Европе как об историческом единстве формируется у Ауэрбаха в 1920-е, но эмиграция превращает это понимание в позицию, которую Ауэрбах защищает открыто в „Мимесисе”, во „Введении в романскую филологию” и в „Литературном языке и публике”, однако в годы пребывания в США Ауэрбах приходит к пессимистическому выводу о конце европейской истории и Европы как исторического единства.

В 1920-е в немецком литературоведении доминирует духовно-историческое направление, хотя оно и не было единственным<sup>10</sup>. Сама „Geistesgeschichte” не являлась чем-то единым в отношении применяемых к истории подходов, особенно если рассматривать ее как направление в гуманитарных науках, а не только в литературоведении (Kluckhohn 1958: с. 537–540; Lunding 1965: с. 200). Однако сходство между „духовно-историческими” подходами отчетливо проступает при сопоставлении с отброшенным ими позитивизмом и с последующим имманентным толкованием (werkimmanente Interpretation)<sup>11</sup>. Филологическая историографическая методика Ауэрбаха – часть многообразия „духовно-исторического” направления, несмотря на разницу в постановках: восхождение

<sup>10</sup> Направления или подходы представлены наглядно в (Mahrholz 1932: с. 80–160).

<sup>11</sup> Об имманентном толковании (Ангелов 2015: с. 42–59).



к исторической целостности через микроскопический анализ текстов, в отличие от „идейных синтезов” целых эпох<sup>12</sup>.

Сопоставлю вкратце два направления в „истории духа”, которые в 1920-е являются и реакцией на военное поражение Германии<sup>13</sup>. В обоих случаях духовно-историческое может сочетаться со стилистическим анализом либо с анализом формы. Первое подчеркивает своеобразие немецкой сущности, отображает немецкое ощущение формы (Gestalt)<sup>14</sup> и способность переживания, чье высшее выражение раскрывается в искусствах<sup>15</sup>. Немецкая сущность часто утверждается через сравнение, что, по сути, является противопоставлением французскому (и обобщенно – романскому) мировоззрению и чувству формы. В академическом варианте представители этой тенденции продолжали воевать с врагом „Франция”, восстанавливая раненое самолюбие

---

<sup>12</sup> Только в качестве сравнения: общее заглавие четырех томов (1923–53) Германа Августа Корффа „Дух эпохи Гете. Опыт идейного развития классической романтической истории литературы”. Обобщающий труд Юлиуса Петерсена, вышедший в 1939, дает подробное представление о направлениях в немецкоязычной теории и истории литературы 1920/1930-х. (Petersen 1939). В 1939 году Юлиус Петерсен становится почетным доктором Софийского университета им. св. Климента Охридского.

<sup>13</sup> Направлений, разумеется, больше, но в академическом литературоведении эти два представляются мне наиболее важными в аспекте социальной функции.

<sup>14</sup> Проблема художественной формы и, в целом, формообразования становится актуальной (не только в Германии) в 1910-х, но особенно в 1920-х пользуется большой популярностью. Внимание направлено на приемы и на структурные единицы, формирующие литературные и изобразительные художественные произведения. В их основе обнаруживает себя общая демократическая тенденция, которая утверждает, что произведение – вопрос техники, ремесла. Гештальтпсихология защищает сходную рациональную позицию. Эта позиция противопоставляется аристократическому толкованию произведения как результату переживания (Erlebnis) творца-избранника, недоступного ни для кого иного. В 1920-е исследования и художественные практики, свидетельствующие о сочетании демократичности и рациональности, многочисленны. Международный конструктивизм стремится охватить всю сферу жизни (рациональное убранство и упрощение интерьера и городского пространства, предметы будничного потребления). То, что сегодня называем дизайн, тогда называлось формообразованием (Formgestaltung).

<sup>15</sup> Представительны для „переживания” две книги Фридриха Гундольфа „Шекспир и немецкий дух” и „Гете”, хотя они более ранние (соответственно 1911 и 1916 гг.). Монография Эмиля Эрматингера „Поэтическое художественное произведение”, дважды изданная в начале 1920-х, была полностью посвящена формам переживания в художественной литературе по отношению к автору, тематике, внутренней и внешней форме, литературным родам (Ermattinger 1923).

в результате проигранной войны, и формировали патриотические настроения и аристократически-изоляционистские ценности<sup>16</sup>.

К другому направлению относятся исследования и переводы Эрнста Роберта Курциуса, которые выглядят как программа взаимодействия в области литературы и философии между Германией, с одной стороны, романскими странами и Англией – с другой. Для Курциуса Европа – это Западная и Юго-Западная Европа; он исследует христианизацию и преобразование античного наследия времен Западного средневековья и вплоть до XX в., подчеркивая общеевропейскую значимость произведений, жанров или мотивов. Его книга „Литературные пионеры новой Франции”, опубликованная в 1918 г. (третье издание – 1923-го г.), представляет поздний французский литературный XIX в. и ранний XX в. Проницательный, а не идеологизированный подход к литературе Франции в те годы – это проявление и человеческой смелости, и независимости суждений<sup>17</sup>.

Указывает на присутствие романских литературных форм в творчестве Гете и Карл Фосслер. Эти формы, как у каждого большого поэта, преобразованы и подчинены общему отношению к миру и концепции соответствующего произведения. Однако, подчеркну, Фосслер не замыкает творчество и личность Гете в германском и в северном пространстве, обосновывая многими примерами открытость Гете к романской культуре (Vossler 1928: с. 264–281). Научный авторитет Фосслера исключителен, воздействие его исследований не ограничивается только специфической научной средой, а способствует созданию более общих социальных установок.

Именно эта линия в литературоведении настаивает на равноправии между национальными языками и литературами как выражении единой человеческой способности к языковому

---

<sup>16</sup> В 1920-е годы враждебность по отношению к соседям в Европе была характерна, разумеется, не только для Германии. Национальное в этих десятилетиях было уязвимым и врачевалось путем возвращения к „вечным” народным или племенным ценностям через самовозвеличивание таким образом, что граница между патриотизмом и национализмом оказывалась размытой.

<sup>17</sup> Историками литературы, не замыкавшими национальное или родное в собственных его рамках в 1920-е, были, например, Фосслер и Клемперер в своих публикациях на тему „мировая литература”.

мышлению. Еще один пример – это лекция Фосслера, с которой он выступил публично во Флоренции в 1936 г.:

Таким образом язык превращается в достойное уважения и божественное нечто во всех его национальных индивидуациях, и возникает требование о национально-языковой терпимости и, вместе с тем, – о национально-языковой чести. Терпимость между национальными языками – более поздний и еще более хрупкий цветок, чем религиозная, но они принадлежат друг другу. Ведь родной язык моего соседа есть его внутренний глаз, форма его мышления со всеми ее возможностями создавать мир. Он – голос его детства и его будущего, его памяти и вождений. Если мы это поняли, то все насильственные меры против родного языка одного народа будут преступлением против зарождающейся жизни духа (Vossler 1940: с. 114–115)<sup>18</sup>.

Подобные высказывания, защищавшие четкую моральную позицию, воспринимались национал-социалистическим режимом как политические, каковыми они и были. Против Фосслера, вышедшего на пенсию по старости в 1937 г., была организована кампания, ему запрещалось читать лекции, на что он, как профессор и профессор эмеритус (заслуженный профессор), имел право. В 1930/40-е гг. Фосслер исследует преимущественно испанскую литературу: с одной стороны, он ищет ее связь с европейскими литературными традициями, но с другой – сосредотачивает внимание на исследовании испанской мистики, как он ее называет – „поэзия одиночества”. Это демонстрирует желание Фосслера изолировать себя не столько от исторической, сколько от современной социальности, в которой он живет<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> „Etwas Verehrungswürdiges und Göttliches ist damit die Sprache in allen ihren völkischen Individuationen geworden, und es erhob sich die Forderung der nationalsprachlichen Duldsamkeit und zugleich der nationalsprachlichen Ehre. ... Diese [Duldsamkeit] ist eine spätere, noch zartere Blüte als die religiöse Toleranz, und beide hängen zusammen. Meines Nachbarn Muttersprache ist ja sein inneres Auge, seine Denkform mit all ihren Möglichkeiten, die Welt zu gestalten. Sie ist die Stimme seiner Kindheit und seiner Zukunft, seiner Erinnerung und Sehnsucht. Hat man dies eingesehen, so müssen alle Gewaltmaßregeln gegen die Muttersprache eines Volkes als ein Vergehen am keimenden Leben des Geistes erscheinen” (Vossler 1940: с. 114–115).

<sup>19</sup> Позиция Фосслера против „старых и новых политических мифов” в 1920-е и 1930-е гг. последовательна. Единственное его выступление против французского языка в 1922-м г. – выражение боли и отчаяния. Имеет значение, кому принадлежат эти слова: „лучше

*II. Размышления о Европе  
в речах Гуго фон Гофмансталя 1920-х годов*

Включаю, хотя и обзорно, Гуго фон Гофмансталя в тему отношений между филологией и Европой, так как он получает диплом по романской филологии и степень доктора в 1898 г. по соответствующей дисциплине<sup>20</sup>. В 1926-м г. выходит второе издание „Немецкой хрестоматии” (Deutsches Lesebuch), составленное Гофмансталем. Предисловие открывается сопоставлением между достигнутым в XVIII в. самоосознанием французского языка, с его претензиями на мировое господство, и столетним распознаванием (1750–1850 гг.) „немецкой духовной сущности” со стороны остального мира (Hofmannsthal 1984: с. 5). Составление „Немецкой хрестоматии” – часть усилий Гофмансталя через словесность укрепить дух немецкой нации и способствовать ее единению после разгрома в Первой мировой войне. Вот почему в предисловии „немецкий дух” XVIII и XIX вв. был представлен как равноценный французскому XVII и XVIII вв. Гофмансталь не отделяет Австрию от Германии, для него эти два государства – одна общая немецкая родина, что могло бы превратиться и в политическую реальность, если бы версальские договоры не воспрепятствовали объединению нового государства Австрии с Германией.

В речи „Взгляд на духовное состояние Европы”, 1922, Гофмансталь рассуждает над вопросом „не перестала ли существовать Европа как духовное понятие?” (Hofmannsthal 1979a: с. 478). Характерным для глубины кризиса, в котором находится Европа после Первой мировой войны, по его мнению, является отсутствие общеевропейской фигуры, которая отчетливо выступала бы по отношению к остальным известным духовным фигурам своей мощью и своим авторитетом, фигуры, перед которой Европа могла

---

говорить на славянском (sic!)... или на эсперанто, а лучше всего – на немецком, но уже никогда и никоим образом на французском”. После книг, которые Фосслер написал о французской литературе и культуре, сказанное звучит как отрицание значительной части его собственной истории жизни. О позиции Фосслера (Christmann 1994: с. 489–504). Смысл бы изменился, если бы эти слова были произнесены в то же самое время немецким филологом, с националистическими убеждениями.

<sup>20</sup> Свой научный труд на присвоение ученой степени „Хабилитированный доктор” по Виктору Гюго, 1901, Гофмансталь снимает с процедуры защиты.

бы преклониться, как это было два десятилетия тому назад с Ибсеном и Толстым. Подобная общепризнанная в Европе духовная фигура могла бы исполнить роль вождя (Führer). Бернад Шоу – общеевропейская фигура, но он скорее всего явление, чем вождь. Духовным вождем может явиться тот, кому удастся потрясти человеческие души и указать на новые религиозные обязанности, которых души жаждут (Hofmannsthal 1979a: с. 479).

Все же Гофмансталь видит такую фигуру в Достоевском, чья власть над душами современной молодежи подобна той, которую имел Шиллер сто лет назад. Достоевский „и никто иной – кандидат на трон духовного императора”. Здесь духовный вождь отождествлен с полководцем или с руководителем мощной государственной организации. Однако возникает и другой кандидат, оспаривающий потенциальный титул Достоевского, и это кандидат, являющийся „не только художником”, но и мудрецом, магом, настоящим вождем душ, удовлетворяющим их религиозную потребность. Духовная мощь Гете, со дня смерти которого на тот момент исполнялось сто лет (1932), раскрывается с величественной неторопливостью. Воздействие Гете Гофмансталь описывает как вхождение в античный акрополь (Säulengänge auf das erhabene Zentrum weisend) и в таинственность египетского храма (Hofmannsthal 1979a: с. 479–480)<sup>21</sup>.

Дух каждого, Достоевского и Гете, борется за души думающих и ищущих. Категория ищущих – основная и в других речах Гофмансталя. В результате такого заключения автор указывает на то, что Европа является западным христианством и кровью усвоенной Античностью, тогда как Россия обращена к Азии<sup>22</sup>. Истинной тайной (unverwesliches Geheimnis) является присутствие

<sup>21</sup> „... er und kein Anderer ist Anwärtler auf den Thron des geistigen Imperators – und wer könnte ihm diesen streitig machen – wenn nicht einer, dessen hundertster Todestag schon herannaht, und dessen Sich-Entfalten als eine geistige Macht des allerersten Ranges, nicht bloß Künstler, sondern Weiser, Magier, wahrer Führer der Seelen, Stiller auch des religiösen Bedürfnisses, sich mit einer majestätischen Langsamkeit vollzieht: Goethe; seine Stunde immer herannahend, immer aber noch nicht da, immer neue Tore sich öffnend, neue Säulengänge auf das erhabene Zentrum weisend, wie beim Zulaß der Pilger zu einem ägyptischen Tempel” (Hofmannsthal 1979a: с. 479–480).

<sup>22</sup> „Es sind das alte, auf der Synthese von abendländischem Christentum und einer ins Blut aufgenommenen Antike ruhende Europa und das zu Asien tendierende Rußland, die in Goethe und Dostojewski einander gegenüberstehen...” (Hofmannsthal 1979a: с. 480–481).

античности в нас, европейцах (Hofmannsthal 1979с: с. 16). Как видно из речи, европейцы те, кто живет к Западу от Эльбы. Вслед за фигурой духовного вождя – императора, возникает вторая драматическая метафора – метафора крови; подобная метафора биологизирует культуру так, как военизирует ее первая.

Православие – ориентальное христианство, в отношении которого европейское – католическое, лютеранское и пуританское – является в чисто духовном, культурном смысле единым. „Россия – Ориент”, пишет Гофмансталь в речи „Завещание Античности” (1926)<sup>23</sup>. Россия, как вытекает из размышлений автора, не усвоила Античность, лежащую в основе Европы. Главная духовная направленность Гете, продолжает Гофмансталь, состоит в уклонении от страдания, в то время как все жизненное содержание Достоевского, видимо, заключается в том, чтобы призывать страдание. Гофмансталь разрабатывает это противопоставление и приходит к выводу, что „как ни таинствен Достоевский, то, наверное, Гете еще таинственнее”. „Последнее слово Достоевского может быть уже произнесено, оно, наверное, крик, идущий из России, над всем миром”. Что это за крик, Гофмансталь предпочитает не уточнять. Последнее слово Гете, однако, разгадают люди более позднего поколения, которые, возможно, назовут себя последними европейцами (Hofmannsthal 1979а: с. 481).

В данной речи Гофмансталь отделяет Европу от какой-то условной Не-Европы, приписывая одной единство и культурно-историческое преимущество, каким является усвоенное наследие Античности, включая и античный Египет. Какова бы ни была культура и история Азии, она не имела значения для Европы. Чтобы утвердить свое представление о Европе, Гофмансталь нуждался в противопоставлении и обособлении: Европы по отношению к России (Азии), Гете по отношению к Достоевскому, православия по отношению к западному христианству. Однако христианство – мировая религия и его сужение до границ Европы не соответствует собственной миссии христианства.

---

<sup>23</sup> О перемене в отношении к России у Гофмансталя во време войны (1914–1918) и в годы после нее см. (Mayer und Werlitz 2016: с. 111).

Аналогичным образом он высказывается и в эссе, посвященном столетию со дня смерти Наполеона (1921). „Наполеон по отношению к Orientу и особенно по отношению к европейскому Orientу, который есть Россия, – воплощение европейски титанического, и поистине он как будто «Alexander redivivus»” (Hofmannsthal 1921)<sup>24</sup>. Поход на Российскую империю 1812 года – попытка со стороны Наполеона навязать европейский Окцидент европейскому Orientу. В интерпретации Гофманстала, не имеет значения для Наполеона, что думают и чего желают другие, существенно то, что он „воспринимает себя судьбоносцем, не подчиняясь ничьей [чужой] судьбе”. Он вне добра и зла. Для всех стран-агрессоров всегда найдутся „убедительные” аргументы для развязывания войны и ее оправдания. Речь Гофманстала – прославление могущественной личности и восхищение ее способностью подчинять себе все. Политические личности, которые будут стремиться к покорению всего и всех, действительно появляются в 1920-е гг. в европейских странах.

Концепция автора, изложенная с обычной языковой виртуозностью, указывает на объединяющую и основную характеристику европейской культуры, которую Гофмансталь видел в индивидуализме. Это стремление указать европейским государствам, разьединенным после войны, на предыдущий общеевропейский пример. Но почему он считает, что именно Наполеон должен выступать объединяющим Европу образцом – „Он последний великий европейский феномен” – в его речи не аргументируется.

Чтобы затушевать различия внутри Европы и представить ее воображаемо единой, нужен кто-нибудь достаточно сильный и достаточно иной, который бы противостоял ей – как, например, Россия. Речь противопоставляет и оправдывает действие – войну, когда индивидуальность не имеет значения. Утверждение о том, что только природные силы противостояли западному индивидуализму при походе 1812 г., является преимущественно выражением пренебрежения к европейскому Orientу, который без природных

---

<sup>24</sup> „So wird er, und gerade auch dem Orient gegenüber – und insbesondere gegenüber dem europäischen Orient, das ist Rußland, – zum Sinnbild des europäischen Titanischen und wirklich «quasi Alexander redivivus»” (Hofmannsthal 1921).

сил не защитился бы. Выходит, что между Германией и Россией нет иных территорий, культурных и прочих, заслуживающих быть обозначенными. И Россия, и Европа представлены в речи как тотальности, без внутренних различий или напряжений.

### *III. Тема Европы в сочинениях Ауэрбаха 1920-х гг.*

Тема Европы появляется у Ауэрбаха в 1920-е годы. В его диссертации „К технике ранней ренессансной новеллы в Италии и Франции” (1921) связь между европейской культурой и новеллой – самая общая, он не обсуждает возможность подобной связи, но исследование сосредоточивается не на национальных различиях между итальянской и французской новеллами, а на различиях в структуре. Из отличий в литературной технике можно сделать выводы и о различиях в национальном характере, что Ауэрбах бегло делает только в последнем абзаце заключения (Auerbach 1971: с. 66). Словом, Ауэрбах считает раннюю ренессансную новеллу одновременно национальным и европейским явлением<sup>25</sup>.

Вторая его диссертация на соискание звания хабилитированного доктора „Данте как поэт земного мира” (1929) свидетельствует уже о понимании европейского характера творчества Данте, разворачивающемся на страницах всей книги. По мнению Ауэрбаха, в поэтическом творчестве Данте, и, главным образом, в „Комедии”, учтен предыдущий расцвет европейской литературы и мировосприятия. Могушественная творческая воля Данте преобразует древнегреческое, римское и позднее античное наследие в новое качество, которое представляет в поэтическом виде одновременно конец и обобщение Средневековья (Auerbach 1929: с. 61, 67, 73)<sup>26</sup>. Ауэрбах не умаляет значения национальной принадлежности словесных произведений Средневековья, которые рассматривает, но настаивает на том, что они создают именно „европейскую поэзию или литературу”. „Он (Данте) закладывает основу национальной поэзии своей страны и одновременно – общеевропейского высокого поэтического стиля для всех

<sup>25</sup> Связь между Европой и новеллой – в (Auerbach 1971: с. 2, 7, 36, 39, 40).

<sup>26</sup> Вопрос о возможных источниках творчества Данте (включая мусульманские) критически освещен и обобщен в двухтомном компендиуме Карла Фосслера, чье второе издание выходит в 1925 г. (Vossler 1925).



национальных языков...”<sup>27</sup> (Auerbach 1929: с. 123). Позволительно ли говорить о национальных явлениях или о преобладающем универсализме во времена Средневековья – вопрос позиции. Но отчетливо проступает озабоченность Ауэрбаха тем, чтобы германское было связано с романским и с античным в единое понятие „европейская литература”.

Идеал христианского рыцаря в дворцовых эпосах – неоплатоническое построение; в самых красивых поэтических произведениях, вдохновленных этим идеалом, в особенности в „Парцифале” Вольфрама фон Эшенбаха, впервые начинает жить мир подлинно идеального в большой европейской поэзии; эпическое многообразие необычайного характера и его судьбы остается неизменным, единство произведения, однако, – платонический *sursum* – очищение и достижение святости, здесь неопишущим образом уподобляется германским инстинктам.

И далее на той же странице:

Однако самым глубоким воздействием на средневековую спиритуальность является представление о чувственной любви; оно осуществляется впервые в провансальской литературе и становится конститутивным для всей европейской поэзии более позднего времени (Auerbach 1929: с. 30)<sup>28</sup>.

Существует собственно немецкая позиция, согласно которой Германия культурно и политически не принадлежит ни к западной, ни к восточной части Европы. Однако существует и внешняя позиция, которая утверждает то же самое, но с противоположными аргументами, в своей крайности проявившись во время войны

---

<sup>27</sup> „Er begründete die nationale Dichtung seines Landes und damit zugleich den gemeineuropäischen hohen Dichtungsstil aller Nationalsprachen...” (Auerbach 1929: с. 123).

<sup>28</sup> „Das «Ideal» des christlichen Ritters der höfischen Epen ist ein neuplatonisches Gebilde; in den schönsten Dichtungen, die dieses Ideal inspiriert hat, in Wolframs «Parzival» insbesondere, lebt zum ersten Male vollendet die echte Idealität der großen europäischen Dichtung; die epische Mannigfaltigkeit des besonderen Charakters und seines Geschicks bleibt erhalten; doch die Einheit des Gedichts ist das platonische *Sursum* der Reinigung und Heiligung, das hier auf eine nicht beschreibbare Weise mit germanischen Instinkten verschmilzt. ... Die tiefste Wirkung der mittelalterlichen Spiritualität ist aber die Umformung der Vorstellung der sinnlichen Liebe; sie ist zuerst in der Provence zutage getreten und wurde konstitutiv für die gesamte europäische Dichtung der neueren Zeit” (Auerbach 1929: с. 30)

1914–1918 гг., когда немецкое было уподоблено азиатскому варварству, поднимающемуся с востока против цивилизации. Сравнение черпает силу из варварского нашествия германских племен на Римскую империю. Желание Ауэрбаха – показать общую основу романского и германского, упреждая попытки, старые и новые, обособления национально германского в его самобытности<sup>29</sup> еще в раннем Средневековье. Европейская традиция для Ауэрбаха – едина, и она достигает в творчестве Данте своей первой исторической кульминации<sup>30</sup>. Через филологические (и в целом – гуманитарные) исследования, которые подчеркивают близость или несовместимость между германским и романским, проявляются две позиции относительно того, каковы должны быть актуальные отношения между Германией и Францией после Первой мировой войны. В этом филология также демонстрирует политическую функцию.

В 1920-е гг. Ауэрбах формулирует две проблемы, над которыми он будет размышлять до конца своей жизни: одна из них – об отношении „литература – действительность”, что он определяет как подражание или представление (*Nachahmung, Darstellung*)<sup>31</sup> и что является вопросом о реализме; другая – о стилях, с помощью которых осуществляется подражание. Ауэрбах анализирует функционирование стиля как выражение определенного социального приведения в систему – в этом отношении его филология приобретает социологический акцент. Ауэрбах свою концепцию о реализме Данте неоднократно резюмирует в упомянутой выше научной монографии „Данте как поэт земного мира” (Auerbach 1929: с. 6, 73–80). Другой проблемой выступает проблема

---

<sup>29</sup> Употребляю это понятие, связанное и с направлением болгарской народопсихологии, имевшей такие же задачи – представить самодостаточность болгарского, не допускающего воздействий и взаимодействий как до, так и после 1944 г.

<sup>30</sup> Взгляд на Данте как европейского поэта имеет красноречивого защитника в лице Томаса Стерна Элиота, поскольку и сам Элиот видел себя представителем европейской, а не конкретной национальной литературы. Вообще говоря, критическая литература о творчестве Данте является „точкой пересечения проблемы „европейского духа и филологии” (Konrad 1954: с. 55).

<sup>31</sup> Критическое восприятие проблемы мимесиса у Ауэрбаха и дальнейшая разработка в: (Gebauer und Wulf 1992: с. 18–40).

о публике, к которой впервые в истории европейской литературы обращается Данте<sup>32</sup>. Отталкиваясь от высказывания Данте о том, почему он пишет свою поэзию на итальянском, а не на латыни, Ауэрбах представляет европейское как „общее в разнообразии”, связывающее национальные языки. Ауэрбах условно называет его словом „койне”, чтобы обозначить одновременно современную ценность и временную глубину общеевропейской принадлежности. Но начало этого обобщения о Европе начинается как ответ на возможное возражение: „Не следует считать странным то, что так высоко оценивается раннее итальянское произведение в качестве европейского голоса” (Auerbach 1929: с. 95)<sup>33</sup>. Оценка Ауэрбаха относится к „Пиру” (Convivio). Ауэрбах предпочитает делать обобщения на основе толкований полного текста, если этот текст краток (напр. сонет), или же беря фрагменты более крупных произведений Данте. Высказанные в последней обобщающей главе „Сохранение и преобразование визии Данте о действительности” мысли о том, что есть европейское, превращаются в концепцию. По мнению Ауэрбаха, „страна”, которую Данте открывает европейскому сознанию, – это историческое присутствие и человеческого, и поэтической действительности. Данте стоит у истоков современной европейской формы мимесиса. Характеристики, которые Ауэрбах дает творчеству Данте, Петрарки и Боккаччо, как и гуманизму, и разуму XVII и XVIII вв., относятся именно к созданию европейской истории, и ни одну из них он не определяет как национальную<sup>34</sup>.

Одна из характеристик, которыми Ауэрбах определяет *подражание* или *реализм* (представление истории через литературу) – это *Evidenz*. Значение, которое Ауэрбах вкладывает в *Evidenz*, понимаю как непосредственное, отчетливо очерченное присутствие. *Evidenz*, опыт и судьба, представляет в своей связанности

<sup>32</sup> Проблема публики, к которой Ауэрбах обращается многократно, побуждает Ханса-Роберта Яусса считать Ауэрбаха одним из предшественников рецептивной эстетики (Jauß 1970: с. 180, 204–206).

<sup>33</sup> „Auch darf es nicht befremdlich erscheinen, dass wir ein frühes italienisches Werk als europäische Stimme rühmen” (Auerbach 1929: с. 95).

<sup>34</sup> Вот некоторые из них: „модерная европейская форма мимесиса, проявившегося в искусствах; история европейской мысли; история европейского образования; чувственно-историческое свидетельство о Европе” и др. (Auerbach 1929: с. 212–218).

жизненную полноту (Auerbach 1929: с. 6). Ауэрбах понимает реализм трехмерно, пластично; одновременно жизненная полнота обладает и моральной ценностью. Исходя из этого, будет уместным взглянуть на употребление „эвиденс” у Макса Шелера, третье издание этики которого было опубликовано в 1927 г. – в тот период, когда Ауэрбах работал над своим трудом о Данте<sup>35</sup>. Применение „эвиденса” свидетельствует о том, что на исследовательский подход Ауэрбаха, ориентированный на конкретные сочинения прежних эпох, влияли актуальные понятия и тенденции, даже далекие от филологии. У Ауэрбаха „эвиденс” не становится центральным понятием, однако его метод в „Данте как поэт земного мира” можно определить как вид литературно-исторической феноменологии. Эвристическая сила этого понятия просматривается лучше всего в аналитике „Божественной комедии”.

С современной точки зрения творчество Ауэрбаха можно оценить как историческую антропологию, которая отслеживает перемены, происходящие в представлении „человеческой ситуации” (Монтень) в Западной Европе от Античности и до XX в. Акцент – на присутствии человека в истории, понимаемой как переменная и становление. Последнее можно воспринять и как косвенную полемику, направленную против типологии в немецком литературоведении 1920-х гг.: до и во время 1920-х гг. в Германии превалировала тенденция превращения истории в типологию, которая так же могла разграничивать и противопоставлять национальные специфики в зависимости от определенных целей и акцентов. Попытки исследовать в изобразительном искусстве или в литературе исключительно форму произведения, начавшиеся во втором десятилетии XX в., также не были близки Ауэрбаху –

---

<sup>35</sup> Понятие „Evidenz” Шелер использует неоднократно. Возможно, Шелер следует за пониманием Э. Гуссерля: „Adäquation im vollen Sinne plus Evidenz ist die «Selbstgegebenheit» seiner” (Scheler 1927: с. 13). Можно предположить, что Ауэрбах иным путем мог воспринять понятие, бытовавшее в „феноменологическом” употреблении в 1920-е гг. Характеристики „эвиденса” (Husserl 1993: с. 61–66, 67–69) соответствуют не только пониманию Ауэрбаха о Данте, но и принципиальному его пониманию присутствия человека в истории. Я подчеркиваю как познавательную, так и этическую стороны понятия „эвиденс” у Ауэрбаха в связи с литературным реализмом. О самоответственности и отношении к истине говорится в работе: (Husserl 1993: с. 69). Историю понятия см.: (Evidenz 1972).

наиболее сильным было воздействие вышедших в 1915 г. и несколько раз переизданных в 1920-е „Основных понятий истории искусства” Генриха Вельфлина<sup>36</sup>.

#### *IV. Эмиграция*<sup>37</sup>

Эрих Ауэрбах покидает Германию по принуждению, и, как многие эмигранты-интеллектуалы из Германии, прибывает в Турцию, где занимает место преподавателя в университете в Стамбуле<sup>38</sup>. Это место предложила ему Германская служба академических обменов (DAAD)<sup>39</sup>. Несколько писем Ауэрбаха из Стамбула показывают степень чужеродности, которую он испытывает по отношению к новой социальной среде (Barck 1988: с. 688–694). Эмиграция – это потеря академической среды, включающей всю институциональную экономику: распределенное по языковым семействам филологическое знание, семинарские занятия, качественных студентов, богатые библиотеки, специализированные издания, соперничество, европейские лекционные гастроли. Сюда необходимо добавить смену языка и иную культурную идентичность студенческой аудитории, которой преподается материал и с которой нужно общаться. Если для Лео Шпитцера немецкий язык был важным, но не столь решающим (начиная с первых публикаций, Шпитцер производил впечатление, что его профессиональный дом – многоязычен), то для

---

<sup>36</sup> Вельфлин также являлся инициатором сопоставления между немецким чувством формы и Италией (Wölfflin 1931), о чем здесь выше упоминалось.

<sup>37</sup> Самым развернутым исследованием, которое мне известно о немецкой романистике времен Третьего рейха, является книга Ханса-Рутгера Хаусманна. В одном подразделе он рассказывает об эмиграции Ауэрбаха (Hausmann 2000: с. 228–244).

<sup>38</sup> Шпитцер покидает университет в Кельне в 1933 г., Ауэрбах покидает университет в Марбурге в 1936 г. В университете в Стамбуле Ауэрбах занимает место Шпитцера, который уезжает в США. Конкурент на то же самое место профессора – Виктор Клемперер остается в Германии и становится известным вне академической литературоведческой среды благодаря своему двухтомному дневнику (только часть его дневников), а также благодаря книге „Lingua tertii imperii. Записная книжка филолога” (1947), в которой он демаскирует официальные языковые употребления во времена нацистского режима и особенно в годы войны (1939–1945). Книга многократно переиздавалась (Klemperer 1975).

<sup>39</sup> Об институциональном поведении Ауэрбаха очень подробно в: (Gumbrecht 1996: с. 13–35).

Ауэрбаха немецкий язык оставался „домом” до конца его жизни<sup>40</sup>. Так лишения и тоска превращаются в структурирующие характеристики его профессиональной деятельности.

В Стамбуле, непоставленный не только по отношению к потерянной профессиональной среде, но и по отношению к географии „романской” Европы<sup>41</sup>, Ауэрбах, вероятно, остро осознавал свои занятия чем-то большим, чем филология, большим академической деятельности, полагая их отстаиванием позиции, задача которой – защитить единство Европы. Отдаленность от своего и осязаемость чужого – это те мотивы, которые ему были нужны для создания образа целого, называемого Европой. Потеря своего частично восстанавливалась путем осмысления желаемой целостности европейской литературы, в ее единстве. Если в 1920-е гг. европейское прочитывается в литературных памятниках и, главным образом, в творчестве Данте, то эмиграция превращает само такое понимание в „европейскую филологию”.

Определение филологии как „европейской” не следует установке, согласно которой филологическое поле формируется благодаря языковому родству, с помощью чего определяются и родственные литературы. „Европейская” филология Ауэрбаха (как и „европейская” историческая семантика Лео Шпитцера, рассмотренная здесь во второй части) с середины 1930-х и в 1940-е гг. определяет научную сферу, которая должна будет обосновывать исторически, через литературные памятники, актуальную необходимость в европейском единстве во время Второй мировой войны и после нее. В таком случае „европейская” должна будет означать, что специализированные на историческом и филологическом фундаментах знания и техники исследования

---

<sup>40</sup> Не только некоторые рассказы Шпитцера о годах в Стамбуле звучат как анекдоты, но это мы видим и у Ауэрбаха. Гарри Левин сообщает следующий эпизод: Ауэрбах был представлен коллеге-переводчику Данте, который, как сообщалось, закончил перевод „Комедии” в два года. Когда Ауэрбах поздравил его за владение языком, переводчик признался, что на самом деле он переводил с французского перевода. Ауэрбах, едва сдерживая свое изумление, деликатно спросил, по какому именно переводу, и получил ответ: „Ну, знаете, не помню” (Levin 1969: с. 465).

<sup>41</sup> В письме Людвигу Бинсвангеру от 28.X.1932 Ауэрбах рассказывает о каникулах, проведенных со своей семьей в Италии (Gumbrecht 1996: с. 25).

могут служить осуществлению социальной и даже – политической задачи.

Каждодневное пребывание в культурном разнообразии Стамбула и желание найти почву для своих занятий во времена, когда европейские страны оккупированы и подвержены разрушению, было решающим для Ауэрбаха в его усилиях и поиске европейского единства в историческом плане. Временные пласты Стамбула также стимулировали интерес как к историческим превратностям, так и к протяженности культуры. В заключении „Мимесиса” Ауэрбах напишет, что ему часто приходилось выходить из области своих занятий – романских литератур (Ауэрбах 1976: с. 548)<sup>42</sup>. Такое признание является не только данью уважения к научным дисциплинам, которые осуществленный в „Мимесисе” проект европейской литературы превзошел. Ауэрбаху пришлось выходить за дисциплинарные рамки романской филологии и в написанном почти в то же самое время „Введении в изучение романских языков и литератур”.

Взгляды Ауэрбаха были мотивированы желанием „дать голос” текстам; их действительно можно определить как терпеливое и проницательное вслушивание в голос текстов, в отношении их как с предшественниками, так и с действительностью, изнутри которой они „говорят”. Метод Ауэрбаха нельзя полностью отнести к дисциплине „история литературы”, так как „синтетический” филологический подход Ауэрбаха суммирует в понятии „литература” исторически и жанрово различные тексты. Его анализ современной литературы, скорее всего, является попыткой „культурно-исторического синтеза” и

---

<sup>42</sup> Следовало бы использовать оригинал, но я работал по русскому изданию „Мимесиса” (1976) в переводе Ал. Михайлова и Ю. Архипова. Так как годы подряд я перечитывал именно русское издание, то неожиданно обнаруживал по найденным заметкам или по выцветшим подчеркиваниям, что эти главы уже читались, хотя был убежден, что они мне не знакомы. Из-за временной (не)прерывности моего чтения, я связан именно с этим переводом. Иногда мне казалось, что оригинал выглядел как толкование перевода. Возможно, степень связанности и продолжительное воздействие превращают в оригинал одновременно текст и прочитанное, в известной степени релятивируя категории „подлинник и перевод”.

обязан не столько его методу „непосредственного чтения”, сколько его образованности в том широком философском, историческом и литературном направлении, существовавшем в Германии конца XIX-го и первых десятилетий XX-го вв., которое называется „Geistesgeschichte” (Uhlig 1996: с. 45)<sup>43</sup>.

Твердую разграничительную линию в отношении материала, однако, нельзя провести, так как Ауэрбах использует „культурно-исторический синтез” как в анализе современной литературы, так и в отношении Ветхого Завета и средневековой литературы. Виталий Махлин определяет такой подход Ауэрбаха синтагмой „герменевтическая филология”<sup>44</sup>.

В Стамбуле Ауэрбах преподает дисциплину, именуемую „европейской филологией” – название, возможное только с внепоставленной позиции, отличающей европейское от своего. В наше время названия курсов и университетских программ, содержащих определение „европейские”, пользуются явной популярностью, но в первой половине XX в. в самой Европе название, вопреки имевшим место дискуссиям о целостности и „судьбе” Европы, выглядело абсурдным из-за узкой специализации академического знания. Именно взаимоотношения с научной и социальной средой в Стамбуле побуждают его акцентировать социальный ангажемент филологии, что вообще не было обязательным в среде с установленной дисциплинарной рамкой. Имеет значение и тот факт, что Ауэрбах прибывает на

---

<sup>43</sup> Проблема исторического синтеза была актуальна в 1920-е гг. Обзор и анализ концепций был сделан Петром Бицилли в очерке „Исторический объект и проблема исторического синтеза” (1925). Книга „Очерки теории исторической науки” опубликована в Праге на русском языке в 1924 г. Я использовал болгарское издание (Бицилли 1994: с. 157–206; Бицилли 2012: с. 239–317).

<sup>44</sup> Махлин понимает под филологией научную деятельность, чья действенная основа – двойная историчность – толкуемых текстов и самого филолога. Русский исследователь обосновывает свое мнение о том, почему филология Ауэрбаха является частью немецкой науки о духе. Согласно своему пониманию, он переводит „philologisch-geistesgeschichtliche Tätigkeit” как „гуманитарно-филологическая деятельность” (Махлин 2004: с. 117–121). Ирина Лагутина резюмирует ауэрбаховское понимание филологии, вслед за ним считая, что филолог исследует историю культуры на основании литературно-художественных текстов и что филологический анализ превращается в общегуманитарное исследование (Лагутина 2000: с. 470–471).



новое рабочее место из среды мощных научных традиций и ему было не сложно приспособливаться к новым стандартам.

Несмотря на эмиграцию и на необходимость читать свои лекции в Стамбуле на французском, Ауэрбах продолжает утверждаться преимущественно в своем родном немецком языке. На французском языке опубликован учебник „Введение в изучение романской филологии” („Introduction aux études de philologie romane”), о котором шла речь выше. Другие две книги, которые Ауэрбах задумывал как исследовательские, были написаны на немецком – „Новые исследования по Данте” („Neue Dantestudien”) и „Мимесис”<sup>45</sup>. Его последняя и незаконченная книга „Литературный язык и публика в латинской поздней античности и в средневековье”, несмотря на окружающую его англоязычную среду, также была написана на немецком<sup>46</sup>.

Ауэрбах получает место преподавателя в США в 1947 г. (начинает преподавать в University of Pennsylvania), когда ему было 54 года, достаточно поздно, чтобы начать думать и писать без затруднения на английском<sup>47</sup>. О привязанности Ауэрбаха к языковому „дому” свидетельствует и выбор его занятий – поздняя латинская Античность и Западноевропейское Средневековье, понимаемые им как фундамент Европы<sup>48</sup>. Сравнение со Шпитцером, который в США изначально пишет на французском, позже прибавляя и английский, показательно не только с точки зрения различий между ними. Еще более логичными было бы

<sup>45</sup> „Neue Dantestudien” выходит в 1944 г. в Стамбуле (сюда также были включены статьи, написанные в Германии), а „Mimesis” – в 1946 г. в Берне.

<sup>46</sup> Отмечая языковую чувствительность Ауэрбаха по отношению к текстам XII–XIII вв. и Данте, Делла Терца подчеркивает, что в статье „Figurative Texts Illustrating Certain Passages of Dante’s Commedia”, кроме обширных цитат, тяжелый английский язык автора тоже в известной степени затруднял восприятие (Della Terza 2001: с. 91).

<sup>47</sup> В таком смысле можно было бы истолковать свидетельство Стивена Найчальса о разговорах с Мари Ауэрбах при исследовании архива ее супруга „через три или четыре года после его смерти”: „Наверное потому, что мы разговаривали прежде всего на французском языке, с которым она справлялась лучше, тогда как мой немецкий был таким, что можно было считать его несуществующим, у меня было такое чувство, что в эти послеобеденные часы я перенесся в другой мир – мир европейского интеллектуала, каким он был в Германии до 1933” (Nichols 1996: с. 64). Через пятнадцать лет после того, как Мари Ауэрбах уже жила в США, язык, с которым она справлялась лучше, чем с английским, очевидно, был французский.

<sup>48</sup> На английском Ауэрбах публикует несколько статей о Данте и о Дж. Вико.

сравнение с немецкими эмигрантами-интеллектуалами в Турции и в США, которые не были филологами<sup>49</sup>. Складывается впечатление, что после 1936 года, когда ученый приезжает в Стамбул, он уже не чувствует себя „как дома” и подчеркивает эту свою „чужесть”, населяя „родной дом” немецкой романистикой. Метафора о „филологическом доме” действительно встречается в его статье „Филология мировой литературы” (1952), но там она означает другое.

На протяжении всех одиннадцати лет в Стамбуле Ауэрбах не проявляет интереса к турецкой культуре или к культуре ислама настолько, чтобы сделать их частью своих научных занятий. Наоборот – создание европейского филологического дома, желанного и воображаемого пространства, как будто должно отдалить непосредственное присутствие среды, в которой он живет. Если бы Ауэрбах проявил к турецкой культуре не только праздный интерес, то это могло отвлечь его от своих привычных тем; потенциальному исследовательскому интересу к чужому противопоставляется „любовь к истории Европы”. Степень чужести проявляется через клаузулу в договоре между университетом и преподавателем, согласно которой проф. Эрих Ауэрбах обязывался начать читать свои лекции на турецком языке. Требование легитимно, но все же в профессиональном и экзистенциальном планах оно свидетельствовало о стеснении человека в его способностях присутствовать равноценно в различных культурах на протяжении всей своей жизни. Ауэрбах, чьи языковые познания были огромны (проанализированные в оригиналах тексты в „Мимесисе” охватывают более 2500 лет), оказался бы в значительном языковом и культурном затруднении. Была ли у него внутренняя мотивация к усвоению турецкого языка? Эта деталь, как мне кажется, показывает, в какой мере идея о том, чтобы вся земля была „филологическим домом”, – просто метафора. Но тоска по уюту слова „дом” в этой метафоре скрывает очевидное – тот факт, что

---

<sup>49</sup> Сборник, составленный Флемингом и Бейлиным (1969), дает живое представление об интеллектуальной эмиграции в Соединенные штаты периода 1930–1960 гг., поскольку студии написаны учениками или коллегами, знакомыми с эмигрантами. Литература по теме обсуждавшейся академической эмиграции из Германии в Турцию в период 1933–45 гг. тоже значительна. Тема была представлена и на ряде выставок в Германии и Турции.

в истории мировой культуры всегда есть языки, распространение которых превращает их в преобладающее средство-власть для общения; тогда этот „дом” уютнее для одних и менее уютен для других, а для некоторых дома вообще нет<sup>50</sup>.

В первой главе „Мимесиса” Ауэрбах завершает анализ эпоса Гомера и Ветхого Завета утверждением: „... в том виде, в каком эти два стиля сложились еще в весьма раннюю эпоху, они оказали основополагающее воздействие на изображение действительности в европейских литературах” (Ауэрбах 1976: с. 44). А заключительные слова всего этого огромного замысла, написанные в послесловии, провозглашали: „...пусть способствует оно [это исследование] тому, чтобы вновь обрели друг друга те, кто во всей своей чистоте сохранил любовь к нашей истории, к истории [Западной] Европы”<sup>51</sup> (Ауэрбах 1976: с. 548; Auerbach 1946: с. 498). В отождествлении личного и исторического видится мне основная характеристика „европейской” концепции „Мимесиса”. Не известно, как бы мог развиваться профессиональный путь Ауэрбаха, если бы он продолжал свой научный путь в родной стране. Концепция „Мимесиса” – результат ущербности. В книге нет библиографии, кроме тех изданий, которые Ауэрбах толкует. Объяснение дается: „Здесь нет хорошей библиотеки для занятий европейской культурой” (Ауэрбах 1976: с. 548). Это утверждение Ауэрбаха со временем было откорректировано в недавних исследованиях, однако не опровергнуто. Однако именно из-за отсутствия хорошей библиотеки он задумал и осуществил книгу более оригинальную, чем если бы оставался в Германии, при тех условиях, которые предлагает немецкая академическая среда<sup>52</sup>. Специализированность в книге достаточная – это массив текстов на различных языках, анализ их синтаксических, лексических и композиционных особенностей, умение соотносить

---

<sup>50</sup> С начала XXI в. вопрос о том, существует ли мировая литература, вновь стал важным. Обсуждения идут на английском, чтобы не было сомнения о языке (в единственном числе) мировой литературы.

<sup>51</sup> В немецком тексте „die Liebe zu unserer abendländischen Geschichte...”.

<sup>52</sup> Это предположение хотя и выглядит очевидным, но я был рад найти подтверждение ему в воспоминании Хари Левина об Ауэрбахе (Levin 1969: с. 466).

проанализированный отрывок с соответствующей исторической средой. В каждой главе, исходя из различных перспектив, Ауэрбах обсуждает основную тему – драматизм человеческого существования, неоднозначные ответы на вопрос: что есть человеческое, которые давала литература (Западной) Европы. Как литература (о чем уже шла речь) имеют ценность различные по своему жанру тексты, которые, по мнению Ауэрбаха, лучше всего в данную эпоху представляют человеческую ситуацию (цитата из Монтеня и название главы, в которой Ауэрбах анализирует „Опыты”).

Согласно тогдашней терминологии, „Мимесис” можно было бы отнести и к истории идей<sup>53</sup>. Такая история, которая прослеживает вопрос о том, как представлена действительность в литературе, одновременно более убедительно представляет и историю Европы, чем это сделала бы теория, отвечая на вопрос „что такое реализм”. Проблема реализма до конца 1960-х гг. была актуальна и для истории литературы, и для изобразительного искусства, но не являлась движущей силой книги Ауэрбаха<sup>54</sup>. Впрочем, целеполагание „Европа” можно перенести и на более ранние работы, написанные до эмиграции в Стамбул, или даже на все творчество.

Обсуждая трудности, стоявшие перед синтетично-исторической филологией в ее стремлении представить „духовную судьбу целостности, какова целостность Европы”, Ауэрбах поясняет, что впервые он применил свой метод в студии „Французская публика XVII в.” (Auerbach 1951: с. 12–50), опубликованной еще в 1933 г., хотя в этой студии речь не шла о Европе, европейское не было горизонтом исследования. Утверждая это, Ауэрбах придает всем своим разысканиям объединительную характеристику, обобщая их более поздней датой. Открытие

---

<sup>53</sup> Один из недостатков „Мимесиса” Хатцфельд видит именно в смешении полустилистического анализа с полуфилософской историей реализма в литературе. См. его преимущественно отрицательную рецензию (Hatzfeld 1949: с. 333–338). Рене Уеллек тоже критикует „противоречивое” понятие о реализме в „Мимесисе” (Wellek 1971: с. 169–170).

<sup>54</sup> Ауэрбах исследует проблему реализма в историческом ракурсе, чтобы создать „воображаемый музей европейской цивилизации” (Levin 1969: с. 466).

европейских характеристик в творчестве Данте в 1920-е вначале не сочетается с пониманием „европейской филологии”.

Общее, что поддается выполнению, это – представить историческое развитие так, как это осуществляется в драме, которая не есть теория, а парадигматическое представление человеческой судьбы. Предмет в самом широком смысле – Европа, в отдельных исследованиях пробуя охватить его (Auerbach 1958: с. 22)<sup>55</sup>.

Хотя Ауэрбах проводит сравнение между драмой и историей Европы в введении к своей книге о поздней Античности и Раннем Средневековье, но относит его ко всей своей деятельности. Так, идея о „судьбе духовной целостности Европы” наделяет его более ранние исследования потенциалом, которого они сами по себе не содержат. Таким образом, профессиональный путь ученого приобретает целостность; основная тема подчеркивает социальную значимость занятий с самого их начала, исключая какие-либо случайности. Мне видится в аргументации Ауэрбаха современная телеологическая мечта о единстве – экзистенциальном и историческом.

#### *V. Судьба и целостность*

„Судьба” – одно из тех понятий, которые обсуждались в Германии после Первой мировой войны в отношении культуры, религии, истории, искусства, народа. Мистическая притягательная сила и антикаузальная направленность понятия соответствуют настроениям больших социальных групп в стране в 1920-е годы. Толкуя литературные произведения, Ауэрбах использует это мифопоэтическое понятие; но, как у него часто случается в употреблении понятий, взятых не из филологии, так и здесь сочетание „судьба и целостность” (*Geschick und Einheit*) как будто выглядит для него самоочевидным. Он не считает необходимым привязывать их к определенной школе или традиции, с которыми

---

<sup>55</sup> „Das Allgemeine, das mir darstellbar zu sein scheint, ist die Anschauung von einem Geschichtsverlauf; etwas wie ein Drama, das auch keine Theorie, sondern paradigmatische Anschauung vom Menschengeschick enthält. Der Gegenstand, im weitesten Verstande, ist Europa, in einzelnen Forschungsansätzen versuche ich ihn zu ergreifen” (Auerbach 1958: с. 22)

они связаны и теоретически обоснованы<sup>56</sup>, хотя для необходимых ссылок в этом случае в его распоряжении были богатые немецкие библиотеки.

Употребление пары „судьба и целостность” остается у Ауэрбаха устойчивым – от первой главы книги о Данте (Auerbach 1929: с. 5–33) до введения к последней книге. Для ученого „судьба” – это события, в течение которых литературный герой проявляет свою сущность, они не могут не случиться, так как герой участвует в их становлении, он тот, кто придает форму событиям. Судьба литературных героев одновременно конкретна и парадигматична; в своей конкретности она представляет сущностные характеристики человеческого вообще. Словом, с литературными героями происходит то, что им соответствует. Ауэрбах не усматривает опасности в том, что слово „судьба” будет превращено в орудие чьей-то политической пропаганды. Относительно 1920-х гг. это нераспознавание понятно, менее приемлемо, однако, что он продолжал применять его и после 1945-го. Допускаю, что судьба и целостность для него были силой, мотивирующей направление его исследований. „Судьба” предполагает не только драматичность, но и единство, которое исследователь может обнаружить в истории личности, европейской литературы или в какой-либо общности<sup>57</sup>. Понятия „судьба” и „целостность” относятся одновременно к истории Европы и к парадигматическим жизненным историям, так как личное сопряжено с историческим. Таким образом, вопрос об историческом единстве Европы становится судьбоносным в отношении не только культуры Европы, но и в отношении личностей, которые формируют это единство.

В каком случае возможно придать европейский горизонт исследованию, проведенному на историческом материале определенной культуры? Ответ Ауэрбаха, наверное, заключался бы в том, что такое исследование возможно, если оно представляет

---

<sup>56</sup> На мой взгляд, Ауэрбах близок к пониманию судьбы у Георга Зиммеля (Simmel 1984: с. 12–18).

<sup>57</sup> Не нахожу семантической причины, из-за которой Ауэрбах использует „Geschick”, а не „Schicksal”, хотя они различаются значением. Статья о „Schicksal” в (Kranz 1992) отсылает к разнице между „Geschick” и „Schicksal” у Хайдеггера.

парадигматическое событие, исходящее из „судьбы” Европы. Тогда история слов „двор, город, публика, фигура, *passio* и страсть”, исследованная Ауэрбахом в нескольких работах 1930-х – начала 1940-х гг., может представлять парадигматическое развитие – социальные отношения и типы поведения; иначе говоря – история слов должна быть исследована как социальная история культуры (Auerbach 1967: с. 55–92, 161–175; Auerbach 1951: с. 12–50). Ауэрбах не берет слова, употребляемые в современном политическом лексиконе, но это не означает, что его выбор не имеет актуальности. Он прослеживает изменения в значении слов, соответствующие изменениям в социальных отношениях от Античности до Данте и до французского XVII в. Аналогичным образом Ауэрбах поступает и в статье „Фигуральные тексты, выясняющие некоторые отрывки из «Комедии» Данте” (Auerbach 1967: с. 93–108). С такой позиции его исследования действительно можно прочитывать как анализ парадигматических изменений в системе ценностей европейской истории. Тогда работы „Французская публика XVII в.” (1933) и „Типологические мотивы средневековой литературы” (Auerbach 1953) следует в равной степени относить к теме „Европа”, независимо от того, что в обеих студиях прямым образом европейское не обсуждалось и что писались они до и после эмиграции в Стамбул.

В 1930-х гг. несколько немецких романистов превращают историю слов в гуманистический инструмент, в социальную позицию, противопоставленную превращению немецкого языка в политическое оружие разделения и лжи. Интерпретация истории слов как истории культуры – часть „духовно-исторических” исследований в Германии (см. напр.: Burdach 1926). В 1930/40-е гг. различия в исследованиях Шпитцера, Ауэрбаха и, в особенности, Ойгена Лерха содержались не в методике, а в социальной позиции. Ни один из них „не плыл по волнам” государственного одобрения относительно ценности своих исследований. Все они были вынуждены покинуть свои преподавательские места по причине неарийского происхождения. Лео Шпитцер начинает свои исследования по „европейской” исторической семантике в 1933 г., в 1940-е гг. Ойген Лерх, досрочно отправленный на пенсию в 1935 г., прослеживает в нескольких статьях „европейскую”

историю слова „Deutsch”, содержащую политическую недвусмысленность (Lerch 1942a; Lerch 1942b).

И все же „средневековая литература” парадигматична по способу, отличному от национально-европейской парадигматики французского XVII в. Верно, что в начале 1930-х гг. представление о французском XVII в. как парадигматическом приобретает дополнительный смысл несогласия с поддерживаемым государством отношениям к Франции (и французской культуре) как к потенциальному врагу. Вне этой ситуации враждебности, однако, парадигматическое, образцовое может являться и принуждением, ограничивающим разнообразие, которое должны навязать сами себе (или внешняя сила сделает это) другие литературы и языки, чтобы стать европейскими. Парадигматическое противопоставляется различиям, оно может функционировать как защита, из-за чего, кроме собственной пассионарности, оно выступает противоположностью себе – нежеланной властью. Мнение о французском XVII в. как парадигматическом для Европы широко принимается, но так же широко и оспаривается в XIX и в первой половине XX вв., в зависимости от степени симпатий к Франции. Условность парадигматического очевидна, когда история одной страны или одного культурного региона отождествляется с европейским – например, когда культура Франции представлена как высший выразитель романского, когда Франция выступала „классической страной Европы”, так что занятия французским становились *pars pro toto* – представительными для образцового европейского<sup>58</sup>. Для меня предпочтительнее многообразие и равноправие культур, нежели один-единственный культурный или языковой образец.

---

<sup>58</sup> Весьма утопично и представление Лео Шпитцера о счастье и гармонии, о „*joie de vivre*”, которые он толкует как цивилизационные характеристики, присущие французскому и романскому в своей студии о Альбере Тибодде (Spitzer 1959: с. 337–373). Утопичное или нет, это представление Шпитцера формирует его убежденность в том, что романское, что *civilitas romana* Средневековья – в основе Европы. Можно вспомнить и характеристику, исходя из которой Якоб Буркхардт (житель протестантского города Базеля) превращает итальянский Ренессанс в мифическую эпоху.



## *VI. Абендлянд – Моргенлянд*

То, что возможно постичь в лучшем случае, это проникновение в многообразные связи становления, из которого приходим и в котором участвуем; установление места, до которого мы дошли, но так же и предчувствие близких для нас возможностей; однако с уверенностью можно сказать – сокровенное участие в нас самих и актуализация сознания – „мы здесь и сейчас”, выступает со всем богатством и со всеми ограничениями, в этом содержащихся (Auerbach 1958: с. 22)<sup>59</sup>.

Здесь еще отчетливее, чем в последних предложениях „Мимесиса”, история – перемена и становление – Европы параллельна сокровенности личного самосознания и участия. Занятия историей имеют целью создание общей европейской идентичности, идентичности тому, что называется „Abendland”. Одна деталь представляется мне весьма красноречивой: резюмируя основные положения своей книги „Литературный язык и публика в поздней латинской Античности и в Средневековье”, Ауэрбах делает симптоматическую замену „западной публики” на „европейскую” в заглавии последней главы: „...целенаправленно парадоксальное заглавие «Европейская публика и ее язык (Das europäische Publikum...)» подчеркивает единство европейского”. Но сама глава озаглавлена „Das abendländische Publikum..”, в содержании глава именуется так же „Das abendländische Publikum ...”, а не „Das europäische” (Auerbach 1958: с. 23, 177). Слово „Абендлянд” обычно в немецком и после XVIII в. употребляется как обобщающее название Западной Европы, поэтому и для Ауэрбаха эти два названия остаются взаимозаменяемыми.

История понятия „Абендлянд”, однако, сложна, значения его различны, иногда противоположны. Основным является то, что „Абендлянд” выступает не столько как географическое, сколько

---

<sup>59</sup> „Was dabei im besten Sinne erzielt werden kann, ist eine Einsicht in die vielfältigen Beziehungen eines Geschehenes, aus dem wir stammen und an dem wir teilnehmen; eine Feststellung des Ortes, an den wir gelangt sind, und allenfalls auch eine Ahnung der nächsten Möglichkeiten, die vor uns liegen; jedenfalls aber innerste Teilnahme an uns selbst, und eine Aktualisierung des Bewusstseins: «wir hier und jetzt», mit allem Reichtum und aller Beschränkung, die es enthält” (Auerbach 1958: с. 22)

культурно-историческое, ценностное обозначение, и Ауэрбах употребляет его именно так. Через него можно рассказать конфликтную историю западноевропейской идентичности. Абендлянд, особенно после 1054 г., отграничивает западное христианство от восточного и противопоставляет их. Это маркируется возрождением идеи о римской империи через союз между Карлом Великим и папством (*translatio imperii*), а также крестовыми походами. Для Ауэрбаха как медиевиста это употребление – идентичность через разграничение и, одновременно, претензия на универсализм – возможно, было очевидным. Разумеется, „Абендлянд” включает греко-римскую Античность как наследие, в Западной Европе подверженное постоянным усвоениям<sup>60</sup>, наравне с идеей просвещения, разума, личной свободы и ответственности – это те ценности, которые с XVI в. и до наших дней Европа стремится превратить в универсальные. Эразм и Комениус – те, кто впервые формулирует через подобные ценности модерную европейскую идею. В отношении Германии „Абендлянд” – интегрирующее понятие, которое связывает ее с Западной Европой, противопоставляясь „самобытному” немецкому историческому развитию. Самобытность легко можно превратить в инструмент некритичного возвеличивания самого себя и враждебности к чужому. Синонимическое употребление Европы и Абендлянда отчетливо проявляет двойственное – объединяющее / разъединяющее понимание Ауэрбахом идентичности и символической географии европейской культуры. Если ограничить еще немного Абендлянд и принять мнение о том, что европейское на протяжении веков представлялось романским, то тогда задачи романской филологии как европейской начинают становиться более выпуклыми, а культурная география европейского начинает редуцироваться.

Какими пределами картографировать Запад Европы: входит ли в таком случае сюда Шотландия? где проходит восточная граница – по Рейну, по нижнему течению Эльбы? Кенигсберг – часть ли Европы (не только из-за Канта)? а ее Север – включает ли

---

<sup>60</sup> Вопрос о том, какая именно Античность, где в Европе и с какой целью она была заимствована и преобразована, остается одним из наиболее интересных в отношении европейской идентичности.

сегодняшнюю Финляндию, однако без финнов, исповедующих православие? а Юг – включает ли остров Кипр (из-за Киприды)? и нельзя ли к Югу подключить и Северную Африку, из-за св. Августина (творчеству которого Ауэрбах посвятил проникновенные страницы)? и так далее. Проблема не выглядит простой, и синонимичность „Абендлянда” и „Европы” тоже ее не разрешает.

Ауэрбах не обсуждает вопрос о том, до каких пределов простирается Европа. Пространственная близость к современной ему Греции, к бывшей Византии, то, что Стамбул был Константинополем, не побуждает его думать, что они были частью Европы в прошлом, даже если и не теперь. Слово „Абендлянд” вызывает в сознании „Моргенлянд”, которое относится к Востоку, не маркируя четких территорий. Если „Абендлянд” – свое, то „Моргенлянд” представляет даль, отдаленность, „чужесть” и противопоставленность в отношении своего, не в последнюю очередь – и через осязаемые природные образы утра и вечера, восхода и захода солнца (Ориент, Окцидент, Моргенлянд, Абендлянд). Византия, православие, Россия, возможно, и не совсем Ориент, но они и не соотносятся с Абендляндом, и, отсюда, не принадлежат к Европе.

После 1945 г. в Германии и Швейцарии выходит множество (литературно)исторических публикаций, посвященных вопросу о том, что такое Европа. Целью было вновь обосновать романско-германскую культурную общность, представленную как вековая традиция, фундаментом которой выступало латинское Средневековье, осуществившее транзит античного наследия в модерность. В большинстве публикаций обсуждались различные формы присутствия Европы (включая Античность) в немецкой (и немецкоязычной) истории и/или литературе. Эти работы актуализировали связи между Германией и остальными западноевропейскими странами в десятилетии 1945–55 гг., что соответствовало политическим договоренностям между тогдашней ФРГ и ее западными соседями.

Литературная история и историография, экономические проекты типа Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) или военное объединение Западной Европы и США функционируют

аналогичным образом, с намерением показать, что Запад един и новая ФРГ является неотделимой частью Абендланда, Европы<sup>61</sup>. Культурно-историческое отождествление Европы и Абендланда утверждает и без того уже существующее разделение Европы на два блока<sup>62</sup>. Литературная история и филология разделяют Европу таким же образом, как делают это и политические доктрины. Гуманитарные научные дисциплины создают ценностные отношения, в чем их социальная значимость. Концепция об истории Европы, понимаемой как Абендланд, дает нам основание думать, что разделение Европы после победы союзников не основывалось единственно на стратегических интересах. „Духовная целостность Европы” оказалась на тайной демаркационной линии<sup>63</sup>. Россия с ее православием и Советский союз с его коммунизмом, а также республики с преобладающим славянским и мусульманским населением – все эти характеристики чужды Абендланду. Но то, что страны Средней Европы, чье преобладающее вероисповедание – католицизм и где есть латинская письменная традиция, после 1945 г. оставались в Советском блоке, было не только итогом военных и политических факторов, но и результатом исторически сформировавшихся культурных пред/убеждений.

*Перевод с болгарского Зоя Котева (журнальная редакция)*

<sup>61</sup> Разница в названиях двух германских стран показательна и логична: „Германская Демократическая Республика” повторяет названия республик, включенных в состав СССР, при которых народное или национальное является дополнительным определением к государственному устройству – „германская, украинская, белорусская, казахская и пр.” сочетались с „республикой”. А дополнительное определение „республики” как „демократической” предполагало существование и другого типа – не-демократических или полу-демократических республик, отличных от социалистических. Однако подобное название вызывает подозрение, что не-демократическими республиками являются именно те, название которых идеологически симулирует существование реальных демократий.

<sup>62</sup> Большая часть Средней Европы попадает в советскую зону, вопреки своей предыстории, что подтверждалось и событиями безуспешной Венгерской революции осенью 1956 г. С Австрией вопрос был решен более позитивно в 1955 г. договором, подписанным Великими державами, гарантировавшим ей нейтралитет (после неуспешной попытки коммунистического переворота в 1951 г.).

<sup>63</sup> История „Абендланда” переплетается с историей христианства в Западной и в Средней Европе, соответственно, с историей католической и протестантских церквей, с историей национальной идеи в Германии и ее взаимоотношений с другими европейскими странами, с усвоением античного наследия и с разделением Европы на Восток и Запад (Lexikon Theologie 1993: с. 22–24; Brockhaus 1986: с. 31–32).

- Ангелов, А. (2015). Иманентното тълкуване (Werkimmanente Interpretation) в немското литературознание. *Sub specie aeternitatis. Сборник в памет на Жана Николова-Гълъбова*. Съст: Емилия Денчева, Рая Кунчева, Богдан Мирчев, Благовест Златанов. София : УИ „Св. Климент Охридски”, с. 42–59.
- Ауэрбах, Э. (1976). *Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе*. Пер. с нем. Александра Михайлова и Юрия Архипова. Москва : Прогресс, 556 с.
- Ауэрбах, Э. (2004). *Данте – поэт земного мира*. Перевод с нем. Г. Вдовина. Москва : РОССПЭН, 205 с.
- Бицилли, П. (1994). *Очерци върху теорията на историческата наука*. София : Изд. на БАН, 224 с.
- Бицилли, П. (2012). *Очерки теории исторической науки*. Санкт-Петербург : Ахiõта, 426 с.
- Лагутина, И. (2000). „Горизонты ожидания” Эриха Ауэрбаха. В: Ауэрбах, Э. *Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе*. Москва; Санкт Петербург : Университетская книга, с. 469–478.
- Махлин, В. (2000). Затекст: Эрих Ауэрбах и испытание филологии. В: Ауэрбах, Э. *Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе*. Москва; Санкт Петербург : Университетская книга, с. 479–500.
- Махлин, В. (2004). „Сами вещи должны заговорить”: Эрих Ауэрбах и дело филологии. *Вопросы литературы*, № 5, с. 115–123.
- Свердлов, М. (2005). Эрих Ауэрбах. Данте – поэт земного мира. *Вопросы литературы*, № 2, с. 356–357.
- Фридлиндер, Г. (1985). *Достоевский и мировая литература*. Ленинград : Советский писатель, 456 с.
- Auerbach, E. (1929). *Dante als Dichter der irdischen Welt*. Berlin und Leipzig : Walter De Gruyter, 218 S.
- Auerbach, E. (1946). *Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur*. Bern : Franke, 503 S.
- Auerbach, E. (1948). Leo Spitzer, Essays in Historical Semantics. New York, 1948. *Romanische Forschungen*, Bd. 61, S. 393–403.
- Auerbach, E. (1951). La cour et la ville. Französisches Publikum im 17. Jahrhundert. In: Auerbach, E. *Vier Untersuchungen zur Geschichte der französischen Bildung*. Bern : Franke, S. 12–50.
- Auerbach, E. (1953). Epilegomena zu Mimesis. *Romanische Forschungen*, H. 1–2, Bd. 65, S. 1–18.

- Auerbach, E. (1958). *Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spätantike und im Mittelalter*. Bern : Francke, 263 S.
- Auerbach, E. (1963). *Introduzione alla filologia romanza*. Torino : Einaudi, 309 S. (1<sup>st</sup> edition: *Introduction aux études de philologie romane*. Frankfurt am Main : V. Klostermann, 1949, 247 p.).
- Auerbach, E. (1967). *Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie*. Ausgewählt und hrsg. von Fritz Schalk und Gustav Konrad. Bern : Francke, 384 S.
- Auerbach, E. (1971) [1921]. *Zur Technik der Frührenaissancenovelle in Italien und Frankreich*. Zweite, durchgesehene Auflage. Heidelberg : Carl Winter, 69 S.
- Auerbach, E. (1997). *Erich Auerbachs Briefe an Martin Hellweg (1939–1950)*. Vialon, M. (Hrsg.). Tübingen : Francke, 159 S.
- Barck, K. (1988). Fünf Briefe Erich Auerbachs an Walter Benjamin in Paris. *Zeitschrift für Germanistik*, H. 6, S. 688–694.
- Brockhaus Enzyklopädie* (1986). Neunzehnte Auflage. Erster Band. Mannheim : Brockhaus, 704 S.
- Burdach, K. (1926) [1918]. *Reformation, Renaissance, Humanismus: Zwei Abhandlungen über der Grundlage moderner Bildung und Sprachkunst*. Berlin u. Leipzig : Paetel, 207 S. (Unveränd., reprogr. Nachdr.: Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1974, 207 S.)
- Chabod, F. (1961). *Storia dell'idea d'Europa*. Bari : Laterza, 204 p.
- Christmann, H. H. (1994). Im Mittelpunkt der deutschen Romanistik seiner Zeit: Karl Vossler. In: Krauss, H. (Hrsg.). *Offene Gefüge: Literatursystem und Lebenswirklichkeit: Festschrift für Fritz Nies*. Tübingen : Gunter Narr, S. 489–504.
- Croce, B. (1929). Erich Auerbach, Dante als Dichter der irdischen Welt. *La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia*, vol. XXVII, S. 213–215.
- Della Terza, D. (2001). *Da Vienna a Baltimora. La diaspora degli intellettuali europei negli Stati Uniti d'America*. Roma : Editori riuniti, 287 p.
- Ermatinger, E. (1923) [1921]. *Das dichterische Kunstwerk. Grundbegriffe der Urteilsbildung in der Literaturgeschichte*, Leipzig : Teubner, 405 S.
- Europa, Abendland (1972). In: *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Bd. 2, D–F. Basel; Stuttgart : Schwabe, S. 823–828.
- Evidenz (1972). In: *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Bd. 2, D–F. Basel; Stuttgart : Schwabe, S. 829.
- Gebauer, G. und Wulf, Ch. (1992). *Mimesis. Kunst – Kultur – Gesellschaft*. Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 462 S.
- Gumbrecht, H. U. (1996). The Pathos of Earthly Progress: Erich Auerbach's Everyday. In: Lerer, S. (ed.). *Literary History and the Challenge of Philology: The Legacy of Erich Auerbach*. Stanford, CA : Stanford University Press, pp. 13–35.

- Gumbrecht, H. U. (2002). *Vom Leben und Sterben der großen Romanisten. Carl Vossler, Ernst Robert Curtius, Leo Spitzer, Erich Auerbach*. München; Wien : Carl Hanser, 231 S.
- Gumbrecht, H. U. (2003). *Die Macht der Philologie. Über einen verborgenen Impuls im wissenschaftlichen Umgang mit Texten*. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 137 S.
- Hatzfeld, A. H. (1949). Erich Auerbach, "Mimesis". *Romance Philology*, v. 2, pp. 333–338.
- Hausmann, Fr.-R. (1998). Michel de Montaigne, Erich Auerbachs „Mimesis“ und Erich Auerbachs literaturwissenschaftliche Methode. In: Walter Busch und Gerhart Pickerodt (Hrsg.). *Wahrnehmen Lesen Deuten. Erich Auerbachs Lektüre der Moderne*. Frankfurt am Main : Klostermann, S. 224–237. (Analecta Romanica, 58).
- Hausmann, Fr.-R. (2000) „Vom Strudel der Ereignisse verschlungen“. *Deutsche Romanistik im „Dritten Reich“*. Frankfurt am Main : Klostermann, 741 S.
- Hay, D. (1968) [1957]. *Europe. The emergence of an Idea*. Edinburgh : Edingburgh University Press, 151 p.
- Hermann, P. (2002). *Deutsches Wörterbuch*. 10. Auflage. Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1243 S.
- Hofmannsthal, H. von (1921). *Napoleon. Zum hundertsten Todestage*. URL : <https://www.projekt-gutenberg.org/hofmanns/aufsatz/chap009.html> (дата обращения: 5 декабря 2020).
- Hofmannsthal, H. von (1979a). Blick auf den geistigen Zustand Europas. In: Hofmannsthal, H. von. *Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden. Reden und Aufsätze 1–3. Bd. 2*. Schoeller, B. (Hrsg.) in Beratung mit Hirsch, R. Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl, S. 478–481. URL : <http://www.zeno.org/nid/20005090865> (дата обращения: 5 декабря 2020).
- Hofmannsthal, H. von (1979b). Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation. In: Hofmannsthal, H. von. *Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden. Reden und Aufsätze 1–3, Bd. 3*. Schoeller, B. (Hrsg.) in Beratung mit Hirsch, R. Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl, S. 24–41. URL : <http://www.zeno.org/nid/2000509089X> (дата обращения: 5 декабря 2020).
- Hofmannsthal, H. von (1979c). Vermächtnis der Antike. In: Hofmannsthal, H. von. *Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden. Reden und Aufsätze 1–3, Bd. 3*. Schoeller, B. (Hrsg.) in Beratung mit Hirsch, R. Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl, S. 13–16. URL : <http://www.zeno.org/nid/20005090881> (дата обращения: 5 декабря 2020).
- Hofmannsthal, H. von (1984). *Deutsches Lesebuch. Eine Auswahl deutscher Prosastücke aus dem Jahrhundert 1750–1850*. Leipzig : Reclam, 534 S.
- Holdheim, W. W. (1981). Auerbach's *Mimesis*: Aesthetics as Historical Understanding. *Clio*, 10: 2, pp. 143–154.

- Husserl, Ed. (1993). Wahrheit und Evidenz. In: Husserl, Ed. *Arbeit an den Phänomenen*. Waldenfels, B. (Hrsg.). Frankfurt am Main : Fischer, S. 61–69.
- Jauß, H. R. (1970). Literaturgeschichte als Provokation. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 250 S.
- Klemperer, V. (1975). *LTI. Notizbuch eines Philologen*. Leipzig : Reclam, 300 S.
- Kluckhohn, P. (1958). „Geistesgeschichte“. *Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte*. Erster Band A–K. Berlin : De Gruyter, S. 537–540.
- Konrad, G. (1954). Europegeist und Philologie – Forschung und Gesinnung. *GRM (Germanisch-Romanische Monatsschrift)*, Jg. 4, H. 1, S. 47–67.
- Kranz, M. (1992). Schicksal. In: Ritter, J. u.a. (Hg.). *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Basel : Schwabe Verlag, Bd. 8, Sp. 1275–1289. <https://doi.org/10.24894/HWPh.3702>
- Lerch, E. (1942a). Ist das Wort „Deutsch“ in Frankreich entstanden? *Romanische Forschungen*, Bd. 56, H. 3, S. 144–178.
- Lerch, E. (1942b). *Das Wort „Deutsch“*. Sein Ursprung und seine Geschichte bis auf Goethe. Frankfurt am Main : V. Klostermann, 116 S.
- Lerer, S. (ed.) (1996). *Literary History and the Challenge of Philology: The Legacy of Erich Auerbach*. Stanford, CA : Stanford University Press, 301 p.
- Levin, H. (1969). Two Romanists in Amerika: Spitzer and Auerbach. In: Fleming, D. and Bailyn, B. (ed.). *The Intellectual Migration. Europe and Amerika, 1930 – 1960*. Cambridge Massachusetts : Harvard University Press, pp. 463–484. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674334120.c12>
- Lexikon für Theologie und Kirche* (1993). Erster Band. Freiburg : Herder, 992 S.
- Lunding, E. (1965). Literaturwissenschaft. In: *Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte*. Zweiter Band L–O, Berlin : De Gruyter, S. 195–212.
- Mahrholz, W. (1932). *Literaturgeschichte und Literaturwissenschaft*. 2. erweiterte Auflage. Leipzig : Kröner, 244 S.
- Mayer, M. und Werlitz, J. (2016). *Hofmannsthal Handbuch. Leben – Werk – Wirkung*. Stuttgart : J. B. Metzler Verlag, 426 S. <https://doi.org/10.1007/978-3-476-05407-4>
- Neuschäfer, H.-J. (1989). Sermo humilis oder: Was wir mit Erich Auerbach vertrieben haben. In: Christmann, H. H. u. a. (Hrsg.). *Deutsche und österreichische Romanisten als Verfolgte des Nationalsozialismus*. Tübingen : Stauffenburg-Verl., S. 85–95.
- Nichols, St. G. (1996). Philology in Auerbach’s Drama of (Literary) History. In: Lerer, S. (ed). *Literary History and the Challenge of Philology: The Legacy of Erich Auerbach*. Stanford, CA : Stanford University Press, pp. 63–78.
- Pagden, A. (ed.) (2002). *The Idea of Europe: From Antiquity to the European Union*. Washington : Woodrow Wilson Center Press; Cambridge : Cambridge University Press, 377 p. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511496813>



- Petersen, J. (1928). Nationale oder vergleichende Literaturgeschichte. *Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte (DVjs)*, Jg. 6, Bd. 6, S. 36–61.
- Petersen, J. (1939). *Die Wissenschaft von der Dichtung. Band I. Werk und Dichter*. Berlin : Junker und Dünhaupt, 516 S.
- Romania (1977). *Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Dritter Band (P-Sk)*, 2. Auflage. Berlin : : De Gruyter, S. 519–520.
- Romano, S. (2004). *Europa. Storia di un'idea. Dall'Impero all'Unione*. Milano : Longanesi, 277 p.
- Scheler, M. (1927). *Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik*. 3. unveränderte Auflage. Halle : Max Niemeyer, 648 S.
- Simmel, G. (1984). *Das Individuum und die Freiheit: Essays*. Berlin : Wagenbach, 223 S.
- Spitzer, L. (1959). *Marcel Proust e altri saggi di letteratura francese*. Torino : Einaudi, 390 p.
- Stackelberg, J. von (2003). Erich Auerbachs Wissenschaftsauffassung. *Romanische Forschungen*, Bd. 115, S. 351–359.
- Uhlig, Cl. (1996). Auerbach's "Hidden"(?) Theory of History. In: Lerer, S. (ed.). *Literary History and the Challenge of Philology: The Legacy of Erich Auerbach*. Stanford, CA : Stanford University Press, pp. 36–49.
- Vossler, K. (1925) [1907–1910]. *Die göttliche Komödie: Entwicklungsgeschichte und Erklärung*. 2. umgearbeitete Auflage, Heidelberg : Carl Winter, 835 S.
- Vossler, K. (1928). Goethe und das romanische Formgefühl. *Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft*, Bd. 14, S. 264–281.
- Vossler, K. (1940) [1936]. Sprache und Nation in Italien und Deutschland. In: Vossler, K. *Aus der romanischen Welt I*. 2. Auflage. Leipzig : Koehler & Amelang, S. 99–115.
- Wellek, R. (1971). *Grundbegriffe der Literaturkritik*. 2. Aufl. Stuttgart : Kohlhammer, 276 S.
- Wölfflin, H. (1931). Italien und das deutsche Formgefühl. München : Bruckmann, 222 S.

## УЯВНА ГЕОГРАФІЯ У ФІЛОЛОГІЇ ЕРІХА АУЕРБАХА

*Ангел Валентинов Ангелов*

[valentangel@hotmail.com](mailto:valentangel@hotmail.com)

*Доктор мистецтвознавства, кандидат філологічних наук,*

*професор з теорії та історії літератури*

*Інститут літератури, Болгарська академія наук*

*Бул. Шипченскі проход, 52, бл. 17, 1113, м.Софія, Болгарія*

**Анотація.** Мета роботи – дослідити значення позадисциплінарного визначення „європейська філологія” в розумінні Еріха Ауербаха. Автор приходить до висновку, що усвідомлення Європи як історичної цілісності формується в Ауербаха у 1920-ті, але еміграція перетворює цю досить загальну ідею в чітку позицію. Істотне питання: яка символічна географія „європейської філології” Ауербаха. Синонімія Європи і Абендлянду свідчить про те, що для Ауербаха Європа – це Західна Європа, єдність романських і германських мов і літератур. Соціальною значущістю гуманітарних наукових дисциплін є формування цінностей, які здатні перетворюватися в переконання (/упередження) і керувати поведінкою. Поділ Європи на дві частини в кінці Другої світової війни – результат, передусім, військових і політичних мотивів, але, водночас, і сформованих переконань і цінностей. Філологія також може розділяти Європу відповідно.

**Ключові слова:** Абендлянд; європейська література; романська філологія; інтерпретація; доля; Еріх Ауербах; Гуго фон Гофмансталь.

## THE IMAGINED GEOGRAPHY IN THE PHILOLOGY OF ERICH AUERBACH

Angel V. Angelov

[valentangel@hotmail.com](mailto:valentangel@hotmail.com)

*Institute for Literature, Bulgarian Academy of Sciences  
52, Shipchenski prohod Blvd, bl. 17, 1113, Sofia, Bulgaria*

**Abstract.** The purpose of the author is to find the main motive why Auerbach chose to use the non-disciplinary term “European philologists” and what he meant by that. I argue that Auerbach’s consciousness of Europe as a historical entity was formed in the 1920s, but his exile turned this consciousness into a position. A basic question is about the symbolic geography of European culture in the works of Auerbach. The synonymous use of Europe and Abendland distinctly reveals Auerbach’s dual, unifying/divisive understanding of the identity and symbolic geography of European culture. If we accept the opinion that the European has been represented for centuries by the Romance, then the tasks of Romance philology as European philology will become clearer and the cultural geography of Europe narrower. The cultural-historical identification of Europe and Abendland after the Second World War solidified the anyway existing division of Europe in to two blocs. Literary history and philology divided Europe in the way this was done by the relevant political doctrines too. The human sciences also contributed significantly to the creation of value-attitudes, and an investigation of

the former from this perspective gives us additional reason to assume that the agreement on the division of Europe after the Allied victory was not based solely on strategic interests.

**Keywords:** Europe, Abendland, European literature, romance philology, interpretation, fate, Erich Auerbach, Hugo von Hofmannsthal.

### References

- Angelov, A. (2015). Imanentnoto talkuvane (Werkimmanente Interpretation) v nemskoto literaturoznanie [The Immanent Interpretation (Werkimmanente Interpretation) in German Theory of Literature]. *Sub specie aeternitatis. Sbornik v pamet na Zhana Nikolova-Galabova*. Eds.: Emiliya Dencheva, Raya Kuncheva, Bogdan Mirchev, Blagovest Zlatanov. Sofia : UI “Sv. Kliment Ohridski”, pp. 42–59. (in Bulgarian).
- Auerbach, E. (1976). *Mimesis. Izobrazhenie deistvitel'nosti v zapadnoevropeiskoi literature* [Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature]. Translated from the German by A. Mikhaylov and Y. Arkhipov. Moscow : Progress, 556 p. (in Russian).
- Auerbach, E. (2004). *Dante – poet zemnogo mira* [Dante: Poet of the Secular World]. Translated from the German by G. Vdovin. Moscow : ROSSPEN, 205 p. (in Russian).
- Bizzilli, P. (2012). *Ocherki teorii istoricheskoi nauki* [Essays on the Theory of Historical Science]. Saint Petersburg : Axiōma, 426 p. (in Russian).
- Bizzilli, P. (1994). *Ochertsi varhu teoriyata na istoricheskata nauka* [Essays on the Theory of Historical Science]. Sofia : Izd. na BAN, 224 p. (in Bulgarian).
- Lagutina, I. (2000). “Gorizonty ozhidaniia” Erikha Auerbakha [Erich Auerbach’s “Horizons of Expectation”]. In: Auerbach, E. *Mimesis. Izobrazhenie deistvitel'nosti v zapadnoevropeiskoi literature*. Moscow; Saint Petersburg : Universitetskaia kniga, pp. 469–478. (in Russian).
- Makhlin, V. (2000). Zatekst: Erikh Auerbakh i ispytanie filologii [Script Text: Erich Auerbach and the Probation of Philology]. In: Auerbach, E. *Mimesis. Izobrazhenie deistvitel'nosti v zapadnoevropeiskoi literature*. Moscow; Saint Petersburg : Universitetskaia kniga, pp. 479–500. (in Russian).
- Makhlin, V. (2004). “Sami veshchi dolzhny zagovorit”: Erikh Auerbakh i delo filologii [“Things Should Speak for Themselves”: Erich Auerbach and the Achievements of Philology]. *Voprosy literatury*, no. 5, pp. 115–123. (in Russian).
- Sverdlov, M. (2005). Erikh Auerbakh. Dante – poet zemnogo mira [Erich Auerbach. Dante – Poet of the Secular World]. *Voprosy literatury*, no. 2, pp. 356–357. (in Russian).
- Fridlender, G. (1985). *Dostoevskii i mirovaia literatura* [Dostoevsky and the World Literature]. Leningrad : Sovetskii pisatel', 456 p. (in Russian).

- Auerbach, E. (1929). *Dante als Dichter der irdischen Welt*. Berlin und Leipzig : Walter De Gruyter, 218 S.
- Auerbach, E. (1946). *Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur*. Bern : Francke, 503 S.
- Auerbach, E. (1948). Leo Spitzer, Essays in Historical Semantics. New York, 1948. *Romanische Forschungen*, Bd. 61, S. 393–403.
- Auerbach, E. (1951). La cour et la ville. Französisches Publikum im 17. Jahrhundert. In: Auerbach, E. *Vier Untersuchungen zur Geschichte der französischen Bildung*. Bern : Francke, S. 12–50.
- Auerbach, E. (1953). Epilegomena zu Mimesis. *Romanische Forschungen*, H. 1–2, Bd. 65, S. 1–18.
- Auerbach, E. (1958). *Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spätantike und im Mittelalter*. Bern : Francke, 263 S.
- Auerbach, E. (1963). *Introduzione alla filologia romanza*. Torino : Einaudi, 309 S. (1<sup>st</sup> edition: *Introduction aux études de philologie romane*. Frankfurt am Main : V. Klostermann, 1949, 247 p.).
- Auerbach, E. (1967). *Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie*. Ausgewählt und hrsg. von Fritz Schalk und Gustav Konrad. Bern : Francke, 384 S.
- Auerbach, E. (1971) [1921]. *Zur Technik der Frührenaissancenovelle in Italien und Frankreich*. Zweite, durchgesehene Auflage. Heidelberg : Carl Winter, 69 S.
- Auerbach, E. (1997). *Erich Auerbachs Briefe an Martin Hellweg (1939–1950)*. Vialon, M. (Hrsg.). Tübingen : Francke, 159 S.
- Barck, K. (1988). Fünf Briefe Erich Auerbachs an Walter Benjamin in Paris. *Zeitschrift für Germanistik*, H. 6, S. 688–694.
- Brockhaus Enzyklopädie* (1986). Neunzehnte Auflage. Erster Band. Mannheim : Brockhaus, 704 S.
- Burdach, K. (1926) [1918]. *Reformation, Renaissance, Humanismus: Zwei Abhandlungen über der Grundlage moderner Bildung und Sprachkunst*. Berlin u. Leipzig : Paetel, 207 S. (Unveränd., reprogr. Nachdr.: Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1974, 207 S.)
- Chabod, F. (1961). *Storia dell'idea d'Europa*. Bari : Laterza, 204 p.
- Christmann, H. H. (1994). Im Mittelpunkt der deutschen Romanistik seiner Zeit: Karl Vossler. In: Krauss, H. (Hrsg.). *Offene Gefüge: Literatursystem und Lebenswirklichkeit: Festschrift für Fritz Nies*. Tübingen : Gunter Narr, S. 489–504.
- Croce, B. (1929). Erich Auerbach, Dante als Dichter der irdischen Welt. *La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia*, vol. XXVII, S. 213–215.
- Della Terza, D. (2001). *Da Vienna a Baltimora. La diaspora degli intellettuali europei negli Stati Uniti d'America*. Roma : Editori riuniti, 287 p.
- Ermatinger, E. (1923) [1921]. *Das dichterische Kunstwerk. Grundbegriffe der Urteilsbildung in der Literaturgeschichte*, Leipzig : Teubner, 405 S.

- Europa, Abendland (1972). In: *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Bd. 2, D–F. Basel; Stuttgart : Schwabe, S. 823–828.
- Evidenz (1972). In: *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Bd. 2, D–F. Basel; Stuttgart : Schwabe, S. 829.
- Gebauer, G. und Wulf, Ch. (1992). *Mimesis. Kunst – Kultur – Gesellschaft*. Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 462 S.
- Gumbrecht, H. U. (1996). The Pathos of Earthly Progress: Erich Auerbach's Everyday. In: Lerer, S. (ed.). *Literary History and the Challenge of Philology: The Legacy of Erich Auerbach*. Stanford, CA : Stanford University Press, pp. 13–35.
- Gumbrecht, H. U. (2002). *Vom Leben und Sterben der großen Romanisten. Carl Vossler, Ernst Robert Curtius, Leo Spitzer, Erich Auerbach*. München; Wien : Carl Hanser, 231 S.
- Gumbrecht, H. U. (2003). *Die Macht der Philologie. Über einen verborgenen Impuls im wissenschaftlichen Umgang mit Texten*. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 137 S.
- Hatzfeld, A. H. (1949). Erich Auerbach, "Mimesis". *Romance Philology*, v. 2, pp. 333–338.
- Hausmann, Fr.-R. (1998). Michel de Montaigne, Erich Auerbachs „Mimesis“ und Erich Auerbachs literaturwissenschaftliche Methode. In: Walter Busch und Gerhart Pickerodt (Hrsg.). *Wahrnehmen Lesen Deuten. Erich Auerbachs Lektüre der Moderne*. Frankfurt am Main : Klostermann, S. 224–237. (Analecta Romanica, 58).
- Hausmann, Fr.-R. (2000) „Vom Strudel der Ereignisse verschlungen“. *Deutsche Romanistik im „Dritten Reich“*. Frankfurt am Main : Klostermann, 741 S.
- Hay, D. (1968) [1957]. *Europe. The emergence of an Idea*. Edinburgh : Edingburgh University Press, 151 p.
- Hermann, P. (2002). *Deutsches Wörterbuch*. 10. Auflage. Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1243 S.
- Hofmannsthal, H. von (1921). *Napoleon. Zum hundertsten Todestage*. URL: <https://www.projekt-gutenberg.org/hofmanns/aufsatz/chap009.html> (accessed: 5 December 2020).
- Hofmannsthal, H. von (1979a). Blick auf den geistigen Zustand Europas. In: Hofmannsthal, H. von. *Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden. Reden und Aufsätze 1–3. Bd. 2*. Schoeller, B. (Hrsg.) in Beratung mit Hirsch, R. Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl, S. 478–481. URL: <http://www.zeno.org/nid/20005090865> (accessed: 5 December 2020).
- Hofmannsthal, H. von (1979b). Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation. In: Hofmannsthal, H. von. *Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden. Reden und Aufsätze 1–3, Bd. 3*. Schoeller, B. (Hrsg.) in Beratung mit Hirsch, R. Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl, S. 24–41. URL: <http://www.zeno.org/nid/2000509089X> (accessed: 5 December 2020).

- Hofmannsthal, H. von (1979c). Vermächtnis der Antike. In: Hofmannsthal, H. von. *Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden. Reden und Aufsätze 1–3, Bd. 3*. Schoeller, B. (Hrsg.) in Beratung mit Hirsch, R. Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl, S. 13–16. URL: <http://www.zeno.org/nid/20005090881> (accessed: 5 December 2020).
- Hofmannsthal, H. von (1984). *Deutsches Lesebuch. Eine Auswahl deutscher Prosastücke aus dem Jahrhundert 1750–1850*. Leipzig : Reclam, 534 S.
- Holdheim, W. W. (1981). Auerbach's *Mimesis*: Aesthetics as Historical Understanding. *Clio*, 10: 2, pp. 143–154.
- Husserl, Ed. (1993). Wahrheit und Evidenz. In: Husserl, Ed. *Arbeit an den Phänomenen*. Waldenfels, B. (Hrsg.). Frankfurt am Main : Fischer, S. 61–69.
- Jauß, H. R. (1970). *Literaturgeschichte als Provokation*. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 250 S.
- Klemperer, V. (1975). *LTI. Notizbuch eines Philologen*. Leipzig : Reclam, 300 S.
- Kluckhohn, P. (1958). „Geistesgeschichte“. *Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte*. Erster Band A–K. Berlin : De Gruyter, S. 537–540.
- Konrad, G. (1954). Europegeist und Philologie – Forschung und Gesinnung. *GRM (Germanisch-Romanische Monatschrift)*, Jg. 4, H. 1, S. 47–67.
- Kranz, M. (1992). Schicksal. In: Ritter, J. u.a. (Hg.). *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Basel : Schwabe Verlag, Bd. 8, Sp. 1275–1289. <https://doi.org/10.24894/HWPh.3702>
- Lerch, E. (1942a). Ist das Wort „Deutsch“ in Frankreich entstanden? *Romanische Forschungen*, Bd. 56, H. 3, S. 144–178.
- Lerch, E. (1942b). *Das Wort „Deutsch“. Sein Ursprung und seine Geschichte bis auf Goethe*. Frankfurt am Main : V. Klostermann, 116 S.
- Lerer, S. (ed.) (1996). *Literary History and the Challenge of Philology: The Legacy of Erich Auerbach*. Stanford, CA : Stanford University Press, 301 p.
- Levin, H. (1969). Two Romanists in Amerika: Spitzer and Auerbach. In: Fleming, D. and Bailyn, B. (ed.). *The Intellectual Migration. Europe and Amerika, 1930 – 1960*. Cambridge Massachusetts : Harvard University Press, pp. 463–484. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674334120.c12>
- Lexikon für Theologie und Kirche* (1993). Erster Band. Freiburg : Herder, 992 S.
- Lunding, E. (1965). Literaturwissenschaft. In: *Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte*. Zweiter Band L–O, Berlin : De Gruyter, S. 195–212.
- Mahrholz, W. (1932). *Literaturgeschichte und Literaturwissenschaft*. 2. erweiterte Auflage. Leipzig : Kröner, 244 S.
- Mayer, M. und Werlitz, J. (2016). *Hofmannsthal Handbuch. Leben – Werk – Wirkung*. Stuttgart : J. B. Metzler Verlag, 426 S. <https://doi.org/10.1007/978-3-476-05407-4>
- Neuschäfer, H.-J. (1989). Sermo humilis oder: Was wir mit Erich Auerbach vertrieben haben. In: Christmann, H. H. u. a. (Hrsg.). *Deutsche und*

- österreichische Romanisten als Verfolgte des Nationalsozialismus*. Tübingen : Stauffenburg-Verl., S. 85–95.
- Nichols, St. G. (1996). Philology in Auerbach's Drama of (Literary) History. In: Lerer, S. (ed). *Literary History and the Challenge of Philology: The Legacy of Erich Auerbach*. Stanford, CA : Stanford University Press, pp. 63–78.
- Pagden, A. (ed.) (2002). *The Idea of Europe: From Antiquity to the European Union*. Washington : Woodrow Wilson Center Press; Cambridge : Cambridge University Press, 377 p. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511496813>
- Petersen, J. (1928). Nationale oder vergleichende Literaturgeschichte. *Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte (DVjs)*, Jg. 6, Bd. 6, S. 36–61.
- Petersen, J. (1939). *Die Wissenschaft von der Dichtung. Band I. Werk und Dichter*. Berlin : Junker und Dünhaupt, 516 S.
- Romania (1977). *Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Dritter Band (P-Sk)*, 2. Auflage. Berlin : : De Gruyter, S. 519–520.
- Romano, S. (2004). *Europa. Storia di un'idea. Dall'Impero all'Unione*. Milano : Longanesi, 277 p.
- Scheler, M. (1927). *Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik*. 3. unveränderte Auflage. Halle : Max Niemeyer, 648 S.
- Simmel, G. (1984). *Das Individuum und die Freiheit: Essais*. Berlin : Wagenbach, 223 S.
- Spitzer, L. (1959). *Marcel Proust e altri saggi di letteratura francese*. Torino : Einaudi, 390 p.
- Stackelberg, J. von (2003). Erich Auerbachs Wissenschaftsauffassung. *Romanische Forschungen*, Bd. 115, S. 351–359.
- Uhlig, Cl. (1996). Auerbach's "Hidden" (?) Theory of History. In: Lerer, S. (ed.). *Literary History and the Challenge of Philology: The Legacy of Erich Auerbach*. Stanford, CA : Stanford University Press, pp. 36–49.
- Vossler, K. (1925) [1907–1910]. *Die göttliche Komödie: Entwicklungsgeschichte und Erklärung*. 2. umgearbeitete Auflage, Heidelberg : Carl Winter, 835 S.
- Vossler, K. (1928). Goethe und das romanische Formgefühl. *Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft*, Bd. 14, S. 264–281.
- Vossler, K. (1940) [1936]. Sprache und Nation in Italien und Deutschland. In: Vossler, K. *Aus der romanischen Welt I*. 2. Auflage. Leipzig : Koehler & Amelang, S. 99–115.
- Wellek, R. (1971). *Grundbegriffe der Literaturkritik*. 2. Aufl. Stuttgart : Kohlhammer, 276 S.
- Wölfflin, H. (1931). Italien und das deutsche Formgefühl. München : Bruckmann, 222 S.

**Suggested citation**

Angelov, A. (2020). Voobrazhaemaia geografiia v filologii Erikha Auerbakha [The Imagined Geography in the Philology of Erich Auerbach]. *Pitannâ literaturoznavstva*, no. 102, pp. 7–54. (in Russian).  
<https://doi.org/10.31861/pytlit2020.102.007>

Стаття надійшла до редакції 10.12.2020 р.

Стаття прийнята до друку 21.12.2020 р.